

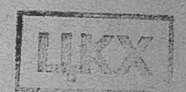
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. Л. БРОДСКОГО, А. Е. ГРУЗИНСКОГО, Н. М. МЕНДЕЛЬСОНА, Н. П. СИДОРОВА

ВЫПУСК 8-Й

Многоуважаемому
Игнатию Владиславлевичу
Владиславлеву
дружески
Н. Ашукин
8.IX.24.

А. А. БЛОК

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ И ЕГО ПИСЬМАХ



СОСТАВИЛ
Н. АШУКИН

Вступительный очерк. — Биографическая канва. — Воспоминания современников. — Письма. — Заметка Блока о поэме „Двенадцать". — Вариант стих. „Россия". — Библиография.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Т-ВА „В. В. ДУМНОВ, НАСЛ. БР. САЛАЕВЫХ".
МОСКВА — 1924.

Главлит № 16802 Тираж 3000 экз.
Интернациональная типография (39) «Мосполиграф», Путинковский, 3,

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЗАМЕТКА.

Слишком короткий срок отделяет нас от дня смерти Александра Блока. Время для всесторонней и объективной оценки его творчества еще не наступило. У нас еще нет полной и подробной биографии поэта. Многие материалы, которые могли бы осветить его жизнь и творчество, опубликовать в настоящее время возможным не представляется. Сведения наши о жизни поэта еще долго во многом будут отрывочны и неполны. Тем не менее, все написанное до сих пор о Блоке, есть тот материал, который может осветить нам творчество этого «последнего романтика»[1]).

Александр Александрович Блок родился 16-го ноября ст. стиля 1880 г. в Петербурге, в квартире своего деда А. Н. Бекетова, ректора Петербургского университета «в его лучшие классические годы»[2]).

Отец поэта Александр Львович Блок был профессором Варшавского университета по кафедре госуд. права. «Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и его стремлений, может быть менее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных лекций) и последние двадцать лет[3]) трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, отец мой»—пишет поэт[4])—«считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его»[5]). Он вскоре разошелся с женой, и ребенок воспитывался в семье матери. С отцом он встречался мало, он только «запомнил его кровно».

В бекетовской семье, где прошло все детство поэта, господствовали литературные интересы. Бабушка поэта, Елизавета Григорьевна Бекетова, «дочь известного путешественника Г. С. Карелина всю жизнь работала над переводами научных и, особенно художественных произведений. Она была очень начитана, владела несколькими языками,

---

[1]) В. Жирмунский. Поэзия Блока. Сборник «Об Ал. Блоке». Пб. 1922. Стр. 69.
[2]) Автобиография. Сборник Фидлера. «Первые литературные шаги» М. 1911.
[3]) Умер 1 декабря 1909 г. в Варшаве.
[4]) Автобиогр. в Ист. Лит. XX в. под ред. Венгерова.
[5]) О предках поэта см.: В. В. Княжнин. А. А. Блок. Пб. 1922. Характеристика отца подробно развивается поэтом в 1-й гл. поэмы «Возмездие».

ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль образный, точный, смелый русский язык, обличавший казачью породу. Ее многочисленные переводы, преимущественно с английского (особенно Вальтер-Скотта, Диккенса, Гольдсмита), остаются до сих пор одними из лучших»[1]).

«От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении» мать поэта и ее две сестры. Все три переводили с иностранных языков: мать (Александра Андреевна, по второму браку—Кублицкая-Пиоттух)—с французского, немецкого и польского; Ек. А. Краснова с английского, испанского и итальянского, кроме того, издала два тома рассказов и стихов; М. А. Бекетова, кроме переводов, написала много популярных книг, а после смерти Блока — его биографию.

В своей автобиографии Блок пишет, что вся обстановка жизни в семье матери «способствовала развитию моей любви к слову. В семье, в общем, господствовали старинные понятия о литературных ценностях и идеалах[2]),—одной только моей матери свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом. Первым вдохновителем моим, имевшим огромную власть надо мной, был Жуковский; через него впервые узнал я дух немецкой романтики. С раннего детства я помню наплывавшие на меня лирические волны, тогда еще еле связанные с чьим-либо именем. Запомнилось разве имя Полонского и первое впечатление от его строф:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

С первых дней рождения будущий поэт стал «средоточием жизни всей семьи. В доме установился культ ребенка. Его обожали все»[3]).

Детские годы Блока проходили — зимами — в Петербурге, в большой квартире «с массой людей, няней, игрушками и елками», а летом — в «благоуханной глуши маленькой усадьбы Шахматово»[4]).

О начале своего поэтического творчества Блок в автобиографии[5]) сообщает следующее: «Сочинять я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», в одном экземпляре; где я был редактором и деятельным сотрудником три года[6]).

«Серьезное писание» началось, когда Блоку было около 18-ти лет. Года три—четыре он показывал свои стихи только матери и тетке (М. А. Бекетовой). Это были лирические стихи, которых ко времени

---

[1]) Автобиогр. Сборн. Фидлера.

[2]) Автобиогр. Сб. Фидлера. У Венгерова добавлено: «которым обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлэна и не с декадентства вообще».

[3]) М. А. Бекетова. А. А. Блок. Пб. 1922. Стр. 33.

[4]) М. А. Бекетова. Стр. 34.

[5]) Сб. Фидлера; Ист. Лит. XX в.

[6]) О рукописном журнале и детских стихах Блока рассказано в книге М. А. Бекетовой, стр. 39—40, 50 и сл.

выхода первой книги—«Стихи о Прекрасной Даме» накопилось до 800, «не считая отроческих».

«Семейные традиции и моя замкнутая жизнь—продолжает в своей автобиографии Блок—способствовали тому, что ни строки, так наз. «новой поэзии» я не знал до первого курса университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Вл. Соловьева... До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне не понятна... Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях... Гамлета, Скупого Рыцаря и... водевили[1]). Трезвые, здоровые люди, которые тогда меня окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах».

Первыми, кто обратил внимание на стихи Блока, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы[2]).

Стихи Блока в печати появились впервые в журнале «Новый Путь» в 1903 г. Об этом рассказано в книге П. Перцова «Ранний Блок». (См. в отд. воспоминаний, № 2).

Одним из важных событий своей жизни Блок считает знакомство с А. Белым[3]). Воспоминания А. Белого (см. отд. воспоминаний, № 1) ярко рисуют образ юного Блока и вводят читателя в атмосферу раннего символизма с культом Вл. Соловьева и тех мистических переживаний, о которых в своей автобиографии упоминает Блок. О воздухе той «эпохи зорь» и о мироощущении самого Блока, переживавшего тему стихов о Прекрасной Даме говорит и его первое письмо к А. Белому (см. письма № 1).

Вл. Соловьев и Ал. Блока — тема большая и еще не разработанная. «Соловьевство» Блока, по словам его биографа В. Княжнина, «было для него не теорией, не добытым, в результате размышлений, миросозерцанием, а кровной стихией»[4]). Эту стихию Блок переживал всю жизнь. Соловьеву он посвятил несколько статей, которые во многом дополняет одно из писем к Г. И. Чулкову (см. письма, № 3).

Для тех лет, когда розово-золотистые зори юности для Блока уже померкли, тема Прекрасной Дамы отодвинулась в прошлое, и

---

[1]) О юношеском увлечении Блока театром см. в книге М. А. Бекетовой, а так же: М. А. Рыбникова. «Блок-Гамлет». М. 1923.

[2]) Брат Вл. Соловьева; О. М. Соловьева — двоюродная сестра матери Блока. О Соловьевых см. в I гл. «Воспоминаний о Блоке А. Белого». Зап. Мечт. 1922, № 6.

[3]) В автобиогр. (Ист. Лит. XX в.) к числу важных событий и веяний своей жизни Блок упоминает еще: встречу с Вл. Соловьевым, знакомство с З. Гиппиус и Д. Мережковским, знакомство с М. С. и О. М. Соловьевыми; события 1904—1905 г.; знакомство с театральной средой, начавшееся в театре Комиссаржевской; «крайнее падение литературных нравов и начало «фабричной» литературы связанное с событиями 1905 года»; знакомство с соч. Авг. Стриндберга; три заграничных путешествия (Италия, Франция, Бельгия, Голландия); «кроме того, мне приводилось почему то каждые шесть лет моей жизни возвращаться в Bad-Nauheim, с которым у меня связаны особенные воспоминания».

[4]) В. Княжнин. А. А. Блок. Пб. 1922. стр. 41 (Вл. Соловьев был родным братом двоюродного дяди А. А. Блока).

поэт «спустился на землю», разуверившись в исполнении юношеских чаяний, характерно его письмо от 1912 г. к издателю журнала «Новое Вино» о том, что теперь для него есть единственный путь — путь художнический, на котором «я могу сделать больше всего» (см. письма, № 6).

Облик юного Блока-студента, автора стихов о Прекрасной Даме, «Нечаянной Радости» и «Снежной Маски» дают воспоминания С. Городецкого и В. Зоргенфрея (см. отд. воспоминаний № 3 и № 5). Юный Блок и в коротких дружеских письмах к Г. И. Чулкову (см. письма № 2 и № 4), где любопытна фраза о том, что государственные экзамены кончились для него неожиданно по первому разряду[1]). Письма эти печатаются здесь впервые[2]).

В воспоминаниях С. Городецкого интересны сведения о том, что появление первой книги Блока было для молодежи «литературным праздником». Интересна та схема поэтического пути Блока, которую намечает С. Городецкий. К выходу первой книги «райская чистота первых видений Блока уже столкнулась с миром фабричных перекрестков под первыми проблесками уже шедшей революции». После 1905 года Блок почувствовал, что «круг лирики для него тесен». «Театр был для него первым исходом из узкого круга лирики», исходом к общественности из замкнутого индивидуализма лирики. «Насколько Блок был увлечен в ту пору (1906 г) театром, показывают его статьи и писавшиеся им тогда одна за другой пьесы»[3]). (См. биографическую канву). В те годы (1906—1908) театр для Блока был «колыбелью страсти земной». Тот ветер из миров искусства, который слышал поэт, ритмическим дыханием повеял на него со сцены, «обвевая лица в темном зале».

Первой пьесой Блока, поставленной на сцене, была лирическая драма «Балаганчик». Первое представление ее в театре Комиссаржевской описано в воспоминаниях С. Городецкого; историю ее возникновения рассказывает Г. Чулков (см. отд. воспоминаний, № 4). Оценка сценического воплощения «Балаганчика» сделана самим Блоком в его письме к В. Мейерхольду. (См. письма, № 5).

Одной из основных тем теоретических статей Блока о театре является: сцена и зрительный зал,—искусство и народ. Эта тема, в сущности, сливается с другой большой темой, неотступно занимавшей поэта,— о народе и интеллигенции. Статьи о народе и интеллигенции были для Блока, по выражению С. Городецкого, «поверкой самого себя»; этот порыв Блока к общественности в те годы остался почти незамеченным: статьи печатались в «Золотом Руне», журнале, читавшемся в кругах эстетов, и были встречены «с враждебным недоумением». Энергия, не вмещавшаяся в круг лирики, опять уходила вглубь. Раздумья Блока о России были одинокими. «Но большая сила, не вмещавшаяся в лирику, рвалась наружу. Оставался только эпос.[4]) Опыт

---

[1]) В автобиографии Блок говорит, что университет не сыграл в его жизни «особенно важной роли».

[2]) За любезное разрешение напечатать здесь два неизданных письма Блока приносим благодарность Георгию Ивановичу Чулкову.

[3]) В. Княжнин. Стр. 83.

[4]) Воспоминания С. Городецкого. «Печать и Революция». № 1, 1922.

Блока в этой области — поэма «Возмездие» .Поэма была задумана им под впечатлением поездки в Варшаву, на похороны отца. «В стихах, посвященных сестре («Ямбы» [1]) раскрылись все раны, нанесенные поэтическому сознанию Блока еще в юности на берегах Невки, социальными контрастами. Незнакомка закуталась в меха и ушла. Язвы мира предстали опустошенной душе поэта. Он задумывает своих «Ругон-Макаров». Взор поэта ослеп к вечно сущему, или, вернее, стал искать его на земле в реальности. Этот кризис символической техники у Блока был выражением общего кризиса, в который вступил символизм»[3]).

Мотивы, которые привели Блока к созданию «Возмездия» объяснены им в предисловии к поэме. Письма к матери (см. письма №11-12) дополняют и повторяют сказанное в предисловии. В письмах же к ней (№ 15—16) освещен и краткий период пребывания Блока на фронте. К этому же периоду относятся и беглые воспоминания А. Н. Толстого о случайной встрече с Блоком, — заведывавшим какими-то строительными работами 13-й дружины Земгора. (См. воспоминания, № 6).

По письмам к матери, написанным по возвращении с фронта в Петербург и передающим впечатления Блока от революции, можно проследить все яснее выражаемую ненависть к старому миру, «паршивому псу» из поэмы «Двенадцать», внушенной поэту гулом и грохотом октябрьской революции.

Поэма «Двенадцать» ,встреченная восторгом одних и злобным шипением других, вызвала толки самые разнообразные и мнения самые противоречивые, едва-ли и до сих пор нашедшие себе верное русло. (Воспоминания К. Чуковского, № 7).

После написания «Двенадцати» Блок замолчал. Перечень трудов Блока после «Двенадцати» можно свести к перечислению служебных заседаний, комиссий, председательствований, писания отчетов и т. п. (см. биографическую канву). Облик Блока и его настроения в начале этого «служебного» периода переданы в воспоминаниях П. И. Лебедева-Полянского (№ 8).

Летопись последних дней Блока передают страницы из книги Бекетовой (№ 10).

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ КАНВА.

1878 г. 7 янв. в Петербурге приват-доцент государств. права Александр Львович Блок (Род. 20. X. 1852 г.) женился на дочери проф. А. Н. Бекетова — Александре Андреевне Бекетовой (род. 6. III. 1860 г.). В тот же вечер новобрачные уехали в Варшаву, где прожили вместе около двух лет.

1880 г. Осенью А. Л. Блок для защиты магистерской диссертации («Государственная власть в европейском обществе») приехал вместе с женой в Петербург. 16-го ноября (ст. ст), в воскресенье утром, в «ректорском доме», в квартире деда А. Н. Беке-

---

[1]) «Ямбы» — стих. 1907—1914 г.

[3]) С. Городецкий. В эту же эпоху написана Блоком драма «Роза и Крест». См. биогр. Бекетовой.

това, родился Александр Александрович Блок. Отец поэта уехал в Варшаву; мать с сыном осталась в Петербурге.

1883 г. Поездка А. Блока с матерью за границу (Триест, Флоренция).

1885 г. Начало сочинения стихов.

1889 г. 24 августа по указу синода расторгнут брак матери поэта с А. Л. Блоком; мать поэта вторично вышла замуж за поручика л.-гв. Гренадерского полка Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух. Август. А. Блок поступил в первый класс Петербургской Введенской гимназии.

1897 г. Поездка с матерью в Бад-Наугейм. Первая лкбэвь, памяти которой посвящены ранние стихи (К.М.С.)

1898 г. Май. Ок нчил курс в гимназии. Поступил в Петербургский университет на юридический факультет.

1900 г. А. Блок впервые отнес свои стихи («Гамаюн—птица вещая») в редакцию журн. «Мир Божий»; редактором В. П. Острогорским стихи не были приняты.

1901 г. С третьего курса юридического факультета А. Блок перешел на историко-филологический.

1902 г. Смерть деда поэта А. Н. Бекетова. Знакомство А. Блока с Д. Мережковским и З. Н. Гиппиус; позднее — с В. Брюсовым.

1903 г. Летом поездка в Бад-Наугейм. 17 авг. (ст. ст.) женитьба на Л. Д. Менделеевой (в с. Шахматове).
Начало переписки с А. Белым.
В журн. «Новый Путь» (март) и в «Литер.-худ. Сборн. студентов Петерб. унив. под ред. Никольского—первые напечатанные стихи А. Блока.

1904 г. Январь. Знакомство с А. Белым в Москве.
Сотрудничество в журн. «Весы». Увлечение поэзией В. Брюсова.
В декабре выходит первая книга А. Блока: «Стихи о Прекрасной Даме». (Книга помечена 1905 г.).

1905 г. Университетская работа — реферат в семинарии проф. Н. И. Шляпкина—«Новиков и Болотов».
Посещение литературных вечеров «Сред» у Вяч. И. Иванова.
Участие в одной из уличных демонстраций,—Блок нес красное знамя.
Стихи Блока впервые появляются в газетах («Наша Жизнь»).
Написана поэма «Ночная Фиалка».

1906 г. Окончен Петербургский университет (по славяно-русскому отделению) с дипломом 1-го разряда.
Сотрудничество в журн. «Золотое Руно».
30 дек. первое представление лирич. драмы «Балаганчик» в театре Комиссаржевской.
Написано: «Балаганчик», «Король на площади», «Диалог о любви, поэзии и государственной службе», «Незнакомка», статья «Поэзия заговоров и заклинаний».

1907 г. Издано: «Нечаянная Радость», «Снежная маска».
Написано: «Песня Судьбы», статьи: «Девушка розовой калитки и муравьиный царь», «О реалистах», «О лирике», «О драме»,

«М. А. Бакунин»; сделан перевод миракля Рютбефа «Действо о Теофиле».

1908 г. Издано: «Земля в снегу», «Лирические драмы», перевод трагедии Грильпарцера «Праматерь».
Написаны статьи: «Ирония», «Солнце над Россией» (о Л. Н. Толстом).
Прочитаны доклады: в Религиозно-Философском О—ве: «Россия и интеллигенция» и «Стихия и культура»; в театре Комиссаржевской: — реферат об Ибсене.

1909 г. Рождение и смерть ребенка.
Апрель—июнь. Поездка за границу с женой (Сев. и Сред. Италия, Кельн, Бад-Наугейм).
Поездка в Варшаву на похороны отца.
На гоголевских торжествах (в зале Дворянск. Собр. в Петербурге) произнесена речь: «Дитя Гоголя».
Написаны статьи о Мережковском, Бальмонте.

1910 г. Доклад в О—ве Ревнителей Худож. Слова: «О современном состоянии русского символизма».
Речь на вечере в память 10-летия со дня смерти Вл. Соловьева: «Рыцарь-монах». Речь на могиле Врубеля.
Задумана поэма «Возмездие»,— летом в Шахматове набросана третья глава.
Увлечеиие авиацией и спортом.

1911 г. Издано: «Ночные часы»; Собр. стих. в трех книгах. Кн. I и II.
Работа над поэмой «Возмездие» (начало 1-ой главы, вступление 2-ой; закончена 3-я глава).
Июнь—июль. Поездка за границу с женой (Бретань).

1912 г. Издано: II-я кн. Собр. стих.
Работа над статьями о Стриндберге.
Написано: драма «Роза и Крест»; статья «Искусство и газета».

1913 г. Издано: «Круглый год» и «Сказки» (стихи для детей).
В сборнике «Сирин» напечатана драма «Роза и Крест».
Статья о романе П. Карпова «Пламень».
Июнь—июль. Поездка за границу с женой (Биарриц и Гетари).

1914 г Летом в Шахматове работа над переводом легенды о св. Юлиане Флобера

1915 г Издано: «Стихи о России» Г. Флобер. Переписка ч. I под ред. А. Блока.
Работа по редактированию Собр. стих. Ап. Григорьева.
Для Истории литературы XX века под ред. С. А. Венгерова Блок написал свою автобиографию.
Поездка в Москву; участие в работах Моск. Худож. Театра по постановке драмы «Роза и Крест».

1916 г. Издано: Стихотворения в трех книгах (изд. Мусагет).
Стихотв. Ап. Григорьева со статьей и под ред. Блока.
Приготовлена к печати поэма «Возмездие»—пролог и 1-я глава.
Июль. Блок зачислен в табельщики 13-й Инженерно-строительной дружины Союза Земств и городов.
Отъезд на фронт (Лунинецкие болота).

1917 г. В «Русской Мысли» (№ 1) напечатана 1-я гл. поэмы «Возмездие».
Март. Блок с фронта вернулся в Петербург.
Написано: «Катилина, страница из истории мировой революции.»
Работа над материалами Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства в качестве редактора стенографических отчетов.

1918 г. Издано: «Двенадцать»; «Скифы» (написано в январе) с предисловием Иванова-Разумника; «Двенадцать»—изд. 2-е с рис. худ. Анненкова; «Соловьиный сад»; «Театр» (изд. «Земля») «Песня Судьбы»; книга статей «Россия и интеллигенция».
Сотрудничество в газ. левых с.-р. «Знамя Труда».
Работа в репертуарной секции Петерб. Театр. Отдела Нар. Ком. Просв.
Черновые наброски романа «Исповедь язычника».

1919 г. Издано: «Ямбы»; «Катилина»; 2-е изд. «Россия и интеллигенция».
В первом заседании Вольной Философской Ассоциации в Петербурге прочитал доклад «Крушение гуманизма».
Написано: драматич. сцены «Рамзес»; предисловие к поэме «Возмездие».
Председательство и доклады в репертуарной секции ТЕО.
15—17 февр. Блок находится под арестом в Петрогр. Ч. К. по «делу левых с.-р».
С апреля он председатель режиссерского управления Большого драматич. театра; речи к актерам.

1920 г. Издано: «За гранью прошлых дней»; «Седое утро».
Редактирование Избр. соч. Лермонтова.
Речь в заседании Вольфила по поводу 20-ти летия со дня смерти Вл. Соловьева.
Работа в редакционной комиссии из-ва «Всемирная литература».
Продолжение работы в Больш. драм. театре.
Избрание в члены правления и суда чести Союза Писателей.
Скончался отчим поэта Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух.

1921 г. Издано: «Последние дни императорской власти»; «О символизме»; (после смерти поэта) Избр. соч. Лермонтова под ред. Блока.
На пушкинском торжестве в Петерб. Доме литераторов произнесена речь «О назначении поэта».
29 янв. (11 февр.) Стих. «Пушкинскому Дому».
Январь—июль. Черновые наброски поэмы «Возмездие».
Работа во «Всем. Лит»., Больш. драм. театре, репертуарной секции ТЕО.
Май. Приезд в Москву; выступление на вечерах в Политехнич. Музее, Доме Печати, Союзе Писателей. Начало болезни.
7 августа, (н. ст.) в воскресенье, в $10^1/_2$ ч. утра в Петербурге скончался А. А. Блок.
10 августа (н. ст.) похороны на Смоленском кладбище.

1922 г. Книгоизд. «Алконост» в Петербурге изданы 1-й и 2-й том. Собр. сочинений Александра Блока; план этого издания был выработан самим поэтом.
«Возмездие». Поэма изд. «Алконост».
«Отроческие стихи» изд. «Первина».
Издана биография Блока, написанная Бекетовой.
1923 г. В Берлине выходят первые томы Собр. соч. А. Блока.
25 февраля в Петербурге скончалась мать поэта Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух.

А. А. БЛОК
И ЕГО ЭПОХА В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АНДРЕЯ БЕЛОГО [1]).

А. А. Блок в Москве.

Помню: в начале января 1904 г. кто-то принес радостное для меня известие, что А. А. Блок с Любовью Дмитриевной приехали в Москву. Помнится: я это узнал до его посещения.

Очень скоро после этого раздался звонок, и когда я вошел в переднюю, то увидел, раздевавшегося молодого человека, очень статного, высокого, широкоплечего, с тонкой талией, в студенческом сюртуке. Это был А. А. Блок с Любовью Дмитриевной. Меня поразило в А. А. (это — первое впечатление): стиль корректности, «светкости» (в лучшем смысле), называемой хорошим тоном. Все было в А. А. хорошего тона, начиная от сюртука, ловко обтягивающего его талию, с высоким воротником, но не того неприятного зеленого оттенка, который был характерен для студентов-белоподкладочников, как тогда называли особый тип студентов-франтов. Кажется в руках А. А. были белые перчатки, которые он неумело совал в карман пальто. Вид был вполне «визитный». Некоторая чопорность и светкость, более подчеркнутая чем в А. А., мне бросилась в глаза в Л. Д. Вместе с тем оба они составляли прекрасную пару и очень подходили друг к другу: оба веселые, нарядные, изящные, распространяющие запах духов. Второе, что меня поразило в А. А. — это здоровый цвет лица, крепость и статность всей фигуры: он имел в себе нечто

---

[1]) Воспоминания А. Белого впервые напеч. во 2-м альманахе «Северные Дни». М. 1922, под заглавием «Россия Блока». Этот первый очерк был значительно развит и дополнен автором в воспоминаниях о Блоке, напеч. в «Записках Мечтателей» 1922, № 6, а затем еще более переработан и дополнен — берлинский журнал «Эпопея» 1922, № 1—4. Здесь воспоминания Белого печатаются по тексту «Зап. Мечт.» с очень значительными сокращениями; в целом виде они занимают более семи печ. листов. Отрывки, здесь помещенные, представляют гл. обр. биографический материал, характеристику Блока и эпохи 1904—5 г.г. Встреча А. Белого с Блоком — крупный факт в биографии последнего. Описание Шахматова важно для уяснения многих сторон творчества Блока: с природой Шахматова связаны стихи о Прекрасной Даме и цикл стихов из «Неч. Радости».

Воспоминания А. Белого начинаются с изображения эпохи 1898—1903 г.г., до первой встречи его с Блоком; эта часть воспоминаний чрезвычайно интересна для характеристики раннего символизма, тех литературных кружков мистиков, которые чувствовали «апокалипсический ритм времени» и слышали, как им казалось «весть о новой эпохе».

Следующая за описанием Шахматова глава воспоминаний Белого о встречах с Блоком в Петербурге (1905—6 г.г.), восполняется приведенными далее воспоминаниями С. Городецкого.

Однако, нельзя не заметить, что для желающих более подробно ознакомиться с биографией Блока, с его временем, необходимо обратиться к воспоминаниям Белого в их полном виде.

от военного, а м. б., и от «доброго молодца». Упругость и твердая сдержанность всех движений несколько контрастировали с застенчиво-улыбающимся лицом, чуть-чуть склоненным ко мне, и большими, прекрасными голубыми глазами. Помниться, меня поразила та чуткость, с которой А. А. воспринял неуловимое впечатление, им во мне оставленное, то-есть, смесь радости, смущенности, некоторой настороженности, любопытства ко всей его личности, вплоть до движения рук, до движения кончиков его улыбающегося рта, до морщинок около смеющихся глаз его, с мороза покрасневшего и слегка обветренного лица...

Помниться, мы сидели друг перед другом в старых уже несколько потрепанных креслах в нашей оливковой гостиной.

Я не помню слов, которыми мы обменялись. Помню лишь, что мы говорили об очень внешних вещах: о путешествии А. А. в Москву, о том, сколько А. А. думает здесь погостить, о Мережковском, Брюсове, «Скорпионе» [1]) и о том, что нам следовало бы о многом поговорить. Едва ли мы не заговорили о погоде, но это вышло слишком «визитно» и мы все втроем вдруг откровенно улыбнулись этому визитному тону и заговорили о том, как трудно отделаться от внешних слов и заговорить по настоящему. И, действительно, нам с А. А. было трудно сразу взять настоящий тон по отношению друг к другу. Вероятно, у А. А. был ряд мыслей обо мне, в связи с письмами к нему, стихами и «Симфонией» [2]). Мне кажется, что в одном стихотворении он переоценил мою бренную личность, посвятив мне строчку о том, что — «кому то на счетах позолоченных дано было сосчитать то, что никому не дано». Я в свою очередь готов был о нем написать подобные же строчки. Слишком много у нас наросло друг о друге душевных образов, не питавшихся фактом личного общения, чтобы сквозь строй дум «о неуловимом» эмпирично коснуться друг друга. Кроме того, с первых мигов встречи сказалась разность наших темпераментов, оттенок меланхоличного в нем и сагвинического во мне, и разные приемы выявлять себя во внешних отношениях... Я был необыкновенно суетлив и говорлив, много теоретезировал и таскал за волосы цитаты различных мыслителей и развивал теорию за теорией, будучи вовсе не теоретичен, сравнительно тих в моем внутреннем облике. На А. А. разлился иной «защитный» стиль: стиль выдержанности, светкости и немного шутливого, добродушно-реального отношения к факту жизненной Майи, что вместе мы называем «хорошим тоном». Всякий, кто знал меня того времени, мог бы сказать: вот москвич, интеллигент, оптимист, идеалист, немножко Репетилов, побывавший в кружке Станкевича, теоретически символизирующий, подобно тому, как в кружке Станкевича гегельянизировали. Немного смешной, немного бестактный, не развивающий хорошего тона. Взглянувши на Блока, можно было сказать: вот петербуржец, вовсе не

---

[1]) «Скорпион» — московское издательство, печатавшее книги символистов, издававшее журнал «Весы».

[2]) А. Белый. Симфония (2-я драматическая). Изд. «Скорпион». М. 1902. Рецензия Блока на эту книгу была напеч. в № 4 «Нового Пути» за 1903 г. в отделе «Из частной переписки». В первые годы творчества Блок всего более тяготел к А. Белому (см. П. Перцов. Ранний Блок. М. 1922).

интеллигент, скорее «дворянин», реалист-скептик, где то грустно вздохнувший, но на этот вздох натянувший свою улыбку, очень добрую и снисходительную, обласкивающую собеседника, чтобы от всей души окружить его уютом и скрыть от него точку своей тоски, и вместе с тем детски доверчивый, но держащий собственную доверчивость под контролем некоторой строгости, в кружке Станкевича не бывший, но, вероятно, простаивавший когда то часами на берегу Невы и знающий звук «Медного Всадника» и «Адмиралтейской иглы», не считающий нужным подыскивать теории символизма, потому что символическое восприятие действительности есть физиологический факт его бытия. Все это отразилось в его манере держаться: внимательность к собеседнику, наблюдательность, готовность ответить на какой угодно вопрос прямо, решительно, без обиняков и «абстрактных» подходов.

... Я подробно описываю разность и полнейшую противоположность в том, что было в нас переферического: в темпераменте, в стиле, в тоне, в такте, что мы сразу же почувствовали, очутившись друг перед другом, что было причиною нескольких мучительных минут, когда мы сидели друг перед другом и не знали, что друг с другом делать, о чем говорить: о погоде не стоит, а о Прекрасной Даме невозможно... Но скоро мы оба почувствовали, что кроме разности «тона», «стиля», «быта» и «темперамента», есть нечто, что и легло впоследствии, как основа его чисто братского, нежного, деликатного и любящего отношения ко мне. Не говорю о себе: я полюбил его в первые же дни нашего московского месяца, хотя был всегда, увы, в десять раз эгоистичнее его в наших взаимоотношениях.

... Из этого посильного анализа своего впечатления об А. А. явствует, что А. А. мне чем то сразу заимпонировал. У меня было более уважения к нему, чем у него ко мне, было ощущение какой то тихой силы и незаурядности, которая исходила от его молчаливого, приветливого облика, такого здорового и такого внешне прекрасного. А. А. был очень красив в ту пору, я бы сказал: лучезарен, но не озарен. Его строки: «Я озарен, я жду твоих шагов...» не соответствовали его лику: в нем не было ничего озаренного, «мистического», внешне «таинственного», «романтического». Никакой «романтики» никогда я не видал в нем. О, до чего не соответствовал он сантиментальному представлению о рыцаре Прекрасной Дамы, рыцаре в стиле цветных витражей, — вот, что всего менее подходило к нему, никакого средневековья, никакого Данте, — больше Фауста. Но лучезарность была в нем: он излучал, если хотите, озарял разговор чем то теплым и кровным, я бы сказал физиологическим. Он был весь — геология. Ничего метеорологического, воздушного, в нем не было. Слышалась влажная земля и нутряной, проплавляющий огонь откуда то из глубины. Воздуха не было. И вероятно, эта физиологичность, реалистичность, земность и отсутствие озаренной транспарантности, просвеченности и создавала то странное впечатление, которое вызывало вопрос: «чем же светится этот человек, как он светится?» Какая то радиоактивная сила излучалась молчанием спокойной, большой и на бок склоненной головы, осведомляющейся о таких простых кон-

кретных явлениях жизни, внимательно вглядывающейся и вдруг вскидывающейся наверх молодцовато, бодро и не без вызова... А. А. производил впечатление пруда, в котором утаивалась большая, редко на поверхность всплывающая рыба, — не было никакой ряби, мыслей, играющих, как рыбки, и пускающих легкие брызги парадоксов и искристых сопостовлений, никакого кипения — гладь — ни одной теории, ни одной игриво сверкающей мысли. Он не казался умным рассудочным умом: от этого он многим «умственникам» мог показаться не примечательным. Но чувствовался большой конкретный ум в «такте», в тоне всех жестов, неторопливых редких, но метких. Вдруг поверхность этого пруда поднималась тяжелым всплеском взвинченной глубины, взвинченной быстрым движением какой-то большой рыбины: большой, месяцами, быть может, годами вынашиваемой мысли...

... Все это я пережил при весьма кратковременном, визитном свидании с А. А. Все это было лейтмотивом наших будущих отношений и встреч. Я почувствовал инстинктивно важность, ответственность и серьезность этой встречи. Серьезность отдалась во мне, как своего рода тяжесть, как своего рода грусть, сходная с разочарованием... «Блок», восемнадцатилетнее личное знакомство с ним есть важный час моей жизни, есть одна из важных вариаций тем моей судьбы, есть нечаянная большая радость и, как всякая большая радость, она не радость, а что-то, для чего у нас нет на языке слов, но что включает в себе много горечи.

Все это прозвучало мне издали в первую встречу и в первый миг в передней. Отсюда впечатление грусти и тяжести, отсюда отражение этой тяжести как разочарования: нет, тут не отделаешься, тут испытуется душа, тут или все, или ничего. Помнится, как ни интересовался я Л. Д., но в это первое наше свидание она промелькнула где то вдали: А. А. занимал все мое внимание.

Светский «визит» продолжался недолго. Супруги Блок с тою же непроизвольной «визитностью» распростились. Мы решили встретиться в тот же день у С. М. Соловьева. Мне запомнились морозный солнечный январь, взволнованность и грусть. Не знаю почему захотелось поделиться впечатлением от встречи с Блоком с очень мне близким А. С. Петровским, поклонником его поэзии; я зашел к нему, мы с ним куда то пошли; помню Никитский бульвар и мое неумение выразить смутное и значительное впечатление от встречи с А. А., смутное до того, что мне стало даже смешно. Я вдруг рассмеялся и развел руками: «Да знаете — вот уж неожиданным оказался Блок». И в стиле наших тогдашних шалостей определять знакомых и даже незнакомых (прохожих, например) первой попавшейся ассоциацией, совершенно далекой и парадоксальной, всегда каррикатурной, всегда гротеск — (таков был наш «стиль») я прибавил: «а знаете на что похож Блок? Он похож на морковь». Что я этой нелепицей хотел сказать, не знаю. Может быть, продолговатое лицо А. А., показавшееся мне очень розовым, крепким и лучезарным, вызвало это шутливое сравнение: «на морковь, или... на Гауптмана». А. С. весело рассмеялся. Мы продолжали шутить и каламбурить. Так я нарочно расшутил то важное и ответственное, что я почувствовал в А. А.

Шахматово.

... В начале лета 1904 г. я получаю приглашение от А. А. приехать к нему в Шахматово погостить вместе с С. М. Соловьевым. Приехав в Москву в июле 1904 г. перед смертью Чехова, и застряв в ней недели на две, частью по делам, частью потому что мне как то неповадно было одному без С. М. ехать к Блоку, ибо я знал, что в Шахматове проживает кроме А. А. и Л. Д., его мать, Александра Андреевна, две его тетки, Мария Андреевна [1]) и София Андреевна с семейством. Но С. М. опаздывал. Блоки ждут меня: и я решаюсь ехать один. Но неожиданно мы едем с А. С. Петровским, приглашения не получившим, но почему то поехавшим со мной. Ему очень хотелось в то время поближе узнать А. А., которого он и любил и ценил. Не помню, как он решился на эту поездку, но помню, что, сидя в вагоне, мы вдруг почувствовали конфуз: я от чувства, что еду в чужой дом и везу товарища, который не приглашен, а А. С. оттого, что как будто сам напросился на эту поездку. Помнится, нам было как то не по себе. Стояла прекрасная солнечная погода. И мы говорили, мне помнится, о спиритизме, которому отдались некоторые из знакомых в Москве и который я считал вредным и несостоятельным. Так приехали мы на ст. Подсолнечную, где вышли и наняли какую то неудобную и тряскую бричку, в которой чувствовали себя плохо, а дорога (18 верст от станции) была неудобная, ухабистая. Приходилось много ехать лесом. Я осматривал окрестности Подсолнечной и устанавливал разницу в стиле пейзажей между «Крюковым» и «Подсолнечной». До Крюкова тянется один стиль: мягких лугов, березовых лесов, балок, оврагов и гатей. Между Крюковым и Подсолнечной пейзаж резко меняется, становится красивее, менее уютным, более диким, лесным и одновременно более гористым, леса угрюмее, дороги, деревни меньше и беднее (подмосковные деревни обслуживают Москву). Мистическое настроение окрестностей Шахматова таково, что здесь чувствуется как бы борьба, исключительность, напряженность, чувствуется, что зори здесь вырисовываются иные среди зубчатых вершин лесных гор, чувствуется, что и сами леса, полные болот и болотных окон, куда можно провалиться и погибнуть безвозвратно, населены всякой нечистью («болотными попиками» и бесенятами). По вечерам «маячит» Невидимка, но просияет заря и она лучем ясного света отражает лесную болотную двойственность. Я описываю стиль окрестностей Шахматова, потому что они так ясно, четко, реалистично отражены творчеством А. А. Пейзажи большинства его стихотворений (стихов о «Прекрасной Даме» и «Нечаянной Радости») — Шахматовские.

... Помнится лишь, что, подъезжая к Шахматову и отмечая связь пейзажей с пейзажами стихотворений А. А., мы с А. С. Петровским впали в романтическое настроение, вспомнив, что мы все, которые

---

[1]) М. А. Бекетова (род. 1862 г.) — переводчица Сенкевича, Гофмана, Бальзака, Мюссе и др. Ей принадлежат популярные переделки (Жюль-Верн, Сильвио Пеллико), популярные книжки для народа (Голландия, История Англии и др.) (см. автобиогр. Блока). Ею же написана биография. Блока. Пб. 1922.

должны были вместе провести эти дни в дружественной атмосфере, выросли и провели детство в этих же местах: я под Клином, С. М. Соловьев в Крюкове, А. С. Петровский, если не ошибаюсь, в Поваровке (полустанок между Крюковым и Подсолнечным), А. А. под Подсолнечным и Л. Д. Блок тоже, в имении Менделеевых Боблово.

В таком настроении мы вплотную приближались к Шахматову, усадьба которого, строения и службы выростают почти незаметно, как бы из леса, укрытые деревьями. Тут мы попросту «по мальчишески перепугались», когда бричка въехала во двор, и мы очутились у крыльца деревянного, серого цвета, одноэтажного домика с мезонинной надстройкой в виде двух комнат второго этажа, в которой мы с А. А. и жили потом. Помню, что в передней нас встретила А. А. Кублицкая и М. А. Бекетова... Помню, что нас провели через столовую в гостиную, и мы уселись вчетвером, не зная, что сказать друг другу. Странно: я удивился Александре Андреевне почти также, как удивился А. А. при первом свидании с ним. Я не подозревал, что мать Блока такая. Какая? Да такая тихая и простая, незатейливая и внутренно моложавая, одновременно и зоркая, и умная до прозорливости, и вместе с тем сохраняющая вид «институтки-девочки», что при ее летах и внешнем облике было странно. Впоследвии я понял, что причина этого впечатления: подвижная живость и непредвзятость всех ее отношений к А. А., к его друзьям, к темам его поэзии, которые привели меня в скором времени к глубокому уважению и любви (и, если осмелюсь сказать, и дружбе), которые я питал и питаю на-протяжении 18 лет к А. А. Кублицкой-Пиотух. Но в эту первую минуту мне было трудно. Я не мог ни за что уцепиться, и мы суетливо метались словами. Узнав, что А. А. и Л. Д. ушли на прогулку в лес, я окончательно впал в уныние, — и А. С. тоже. Помнится мне, что впечатление от комнат, куда мы попали, было уютное, светлое. Обстановка комнат располагала к уюту; обстановка столь мне известных и столь мною любимых небольших домов, где все веяло и скромностью старой дворянской культуры и быта и вместе с тем безбытностью: чувствовалось во всем, что из этих стен, вполне «стен», т.-е. граней сословных и временных, есть также межи в «золотое бездорожье» нового времени — не было ничего специфически старого, портретов предков, мебели и т. д., создающих душность и унылость многих помещичьих усадеб, но не было ничего и от «разночинца», — интеллектуальность во всем и блестящая чистота, всюду сопровождающая Александру Андреевну.

... Мы вышли на террасу в сад, расположенный на горе с крутыми дорожками, переходящими чуть ли не в лесные тропинки (лес окружал усадьбу), прошлись по саду и вышли в поле, где издали увидали возвращавшихся с прогулки А. А. и Л. Д. Помню, что образ их мне рельефно запечатлелся: в солнечном дне, среди цветов, Л. Д. в широком стройном розовом платье-капоте, особенно ей шедшем, и с большим зонтиком в руках, молодая, розовая, сильная, с волосами, отливающими в золото, и с рукой, поднятой к глазам (старающаяся, очевидно, нас разглядеть), напомнила мне Флору, или Розовую Атмосферу, — что-то было в ее облике от строчек А. А.

«зацветающий сон» и «золотистые пряди на лбу»... и от стихотворения «вечереющий сумрак, поверь». А. А. шедший рядом с ней, высокий, статный, широкоплечий, загорелый, кажется, без шапки, поздоровевший в деревне, в сапогах, в хорошо сшитой просторной русской белой рубашке, расшитой руками матери (узор, кажется, белые лебеди, по красной кайме), напоминал того сказочного царевича, о котором вещали сказки. «Царевич с Царевной» — вот, что срывалось невольно в душе. Это солнечная пара среди цветов полевых так запомнилась мне. (А. С. Петровский вечером, раздеваясь, сказал мне: как они подходят друг к другу).

И помнится, А. А., увидев нас, сразу узнал и прибавил шагу, чуть ли не побежал к нам и с обычной, спокойной, неторопливой важной и вместе милою лаской остановился, не удивившись: «Ну, вот, и приехали». Это было обращение к А. С. Петровскому, которому он сразу же подчеркнул всем своим видом — «очень хорошо, что и он приехал». А ведь А. А. мог естественно удивиться и сконфузить А. С. Мы все вместе неторопливо пошли в дом, разговаривая о причинах замедления Сережиного [1]) приезда, о моих московских друзьях, с которыми познакомился А. А., о милых, так себе, пустяках, смысл которых может меняться, выражая скуку, натянутость, ласку, молчание просто. И мне показалось, что все это «ласковое молчание», гласящее: торопиться некуда, — согретое солнцем, такое легкое, приглашало к комфорту. Я почувствовал себя в Шахматове, как дома. Эту атмосферу создавал А. А., который незначущими признаками и тончайшей хозяйской внимательностью рассеял тотчас же между нами последние оттенки принужденности. (О, насколько я был неумелым хозяином при нашей первой встрече в Москве!) В А. А. чувствовалась здесь опять-таки (как не раз мною чувствовалось при разных обстоятельствах) не романтичность, а связанность с землею, с пенатами здешних мест. Сразу было видно, что в этом поле, саду, лесе, он рос, и что природный пейзаж — лишь продолжение его комнат, что шахматовские поля и закаты — вот подлинные стены его рабочего кабинета, а великолепные кусты никогда мною невиданного ярко пунцового шиповника с золотой сердцевиной, на фоне которого теперь вырисовывалась молодая и крепкая эта пара, — вот подлинная стилистическая рама его благоухающих строчек: — в розово-золотой воздух душевной атмосферы, мною подслушанной еще в Москве, теперь вливались пряные запахи шахматовских цветов и лучи июльского теплого солнышка, — «запевая, сгорая, взошла на крыльцо», это написанное им тут, казалось мне, всегда тут всходит...

... Помню, как в первый день нащего пребывания в Шахматове водворилась эта уютная обстановка меж нами, немного смущенная за обедом, когда семейство Софии Андреевны, в виде молодых людей, очень светских и, может быть, слишком корректных, вносило некоторую натянутость. Помню, что А. А. мне жаловался в тот день, что его двоюродные братья позитивисты (а это был не комплимент в устах А. А. того времени), но что это «ничего»: «они нам не будут

---

[1]) С. М. Соловьев.

мешать». Они жили своею особою жизнью, появлялись, откланивались, произносили несколько нарочито любезных и нарочито незначущих слов и нарочито тактично потом оставляли нас. А. А. утверждал, что они нас чуть-чуть презирают, смеются над нами и вместе с тем удивляются нам, за исключением глухонемого двоюродного брата А. А., понимавшего, мне кажется, по меттерлинковски, что «что-то хорошее» есть между нами, и проявлявшего порою удивительную чуткость к барометрическим колебаниям общей душевной обстановки. Помнится, в этот вечер, уже на закате, А. А., Л. Д., А. С. и я пошли на закат: по дороге от дома, пересекавшей поляну, охваченную болотами и лесами из «Нечаянной радости», через рощицу, откуда открывалась равнина, за нею возвышенность и над нею розовый, нежно-розовый закат. Л. Д. в своем розовом платье цвета зари выделялась таким светлым пятном перед нами. А. А. сказал мне, протягивая руку — «а вот там Боблово». — «Я жила там» — сказала Л. Д., указывая на небо, сама цвета розового неба. Такою казалась она. И по другому, таким же зорным казался мне А. А

... Вечером первого дня мы весело распивали чай. А когда А. А. провел нас с А. С. в отведенную нам комнату, и, побеседовавши с нами, пожелал нам спокойной ночи, то еще долго мы с А. С. не могли уснуть. Нам казалось, что мы уже в Шахматове давно. А. С. высказывал мне свои впечатления неоднократно ложась и вновь поднимаясь с постели, таким, каким я его видывал редко. Я смотрел за окно над деревьями скатывающегося вниз под угол сада, на горизонт уже нежно голубого неба с чуть золотистыми пепельными облаками, — там вспыхивали зарницы в «золотистых перьях тучек танец нежных вечерниц». Словом, первый день нашего шахматовского пребывания прошел так, как если бы это было чтение «стихотворений о Прекрасной Даме», а вся вереница дней в Шахматове была циклом Блоковских стихотворений...

Так же прошел и второй день. Никогда не забуду я этой линии тихих в своем напряжении и наростающих дней. Не забуду этой прекрасной в своей монотонности жизни, бурно значительной внутренне. Мы с А. С. медленно вставали у нас наверху, перекидывались впечатлениями, шутками и потом отправлялись вниз в небольшую столовую, выходящую на террасу к утреннему кофе, встречались с Александрой Андреевной с которой всегда заводили интересный умный разговор... А. А. и Л. Д жили не в главном доме, а в уютнейшем, закрытом цветами маленьком домике о двух комнатах, если память не изменяет, в домике, напоминающем что-то о сказочных домиках, в которых обитают феи. Бывало, послышатся шаги их на ступенях террасы и вот веселый тихий входит А. А. и Л. Д. А. А. в неизменной русской рубашке, Л. Д. в розовом, падающем широкими складками платье-капоте. Разговор становится проще, линия разговора меняется: определенные разговоры, которыми мы были заняты, расширяются в неопределенное море той спокойной, немного шутливой глубины и ширины, которые всегда чувствовались в этой супружеской паре. У нас с А. С. было впечатление, что «межа» разговора с Александрой Андреевной, обрамленная гранями того

быта и той эпохи, переходила в «безбытное и вечное» «золотое бездорожье»: «ведет к бездорожью золотая межа». Наши сиденья по утрам воистину переходили в золотое бездорожье у берега какого-то моря, через которое вот-вот придет корабль (для меня Арго) и увезет всех через море в Новый Свет. Очень часто мы переходили в соседнюю комнату, просторную, светлую, обставленную уютною мягкою мебелью. Л. Д. садилась с ногами на диван, мы располагались в креслах. Я очень часто, стоя перед ними, начинал развивать какую-нибудь теорию, устраивая импровизационную лекцию.

... Помню, раз, именно после нашего сиденья в гостиной, А. А. взял бережно меня под локоть и повел невзначай в сад, а потом в поле. Мы шли медленно, часто останавливались: А. А. стал говорить о себе, о своих свойствах, о своей «немистичности», о том, какую роль в человеке играет косность, родовое, наследственное, как он чувствует в себе эти родовые именно силы и о том, что он «темный». И, помнится мне, впервые тогда прозвучала в нем нота позднейшего «возмездия». Я отмахнулся от этой ноты. Помню, я был растерян и беспомощно глядел в сине-знойное июльское небо, — и небо мне казалось черным[1]) Черное небо выступило на мгновение передо мной, А. А. мне сказал, что он вообще не видит в будущем для себя света, что ему — темно, что он темный, что смерть, может быть, восторжествует («нам открылось — мертвец впереди рассекает ущелье»). Эти слова меня застали врасплох — до такой степени они не соответстваволи всему тому, что стояло, как атмосфера, между нами. И я понял, что и эту атмосферу А. А. рассматривает не как налет духовных зорь, а как своего рода медиумический сеанс, в котором все душевные образы «ангелов» могут, как знать, обернуться «чертями» [2]). Помнится, в этот вечер мы долго говорили с А. С. Петровским и он сказал мне: «Неужели и А. А. сгорел». Этим он хотел сказать, что разочарование, в котором внутренно пребывал и А. С. Петровский и я (я во многом разуверен был о близости новой эпохи, А. С. в его чаяниях обновления церкви), коснулось и А. А. Для всех нас, духовно переживающих «кризис» чаяний, было важно создание душевного верного коллектива: общения душ мы искали с одинаковой страстностью, — мы «меньшевики», А. А. «максималист» — реалистично и трезво видел и себя и нас из своего духовного одиночества. Мы отмахивались от этого одиночества, и этот стиль отмахиванья от сомнений вводил в наше тогдашнее общение бессознательную ноту борьбы с «духом сомнений» А. А. Но все это протекало где то в молчании: бездна разочарования была нами сознательно заплетена в розы общения, в розы душистых, ясных,

---

[1]) Впоследствии А. А. очень понравилось, как я в «Серебряном Голубе» описывал впечатления Дарьяльского о небе, которое из голубого вдруг становится черным (А. Б.).

[2]) Здесь А. Белый говорит тем символическим языком, который так характерен для «эпохи чаяний», для той «розово-золотой атмосферы», в которой жили Блок и его друзья. В одном из писем Блока к Белому, написанном в конце 1903 г. на тему учения Вл. Соловьева о Софии, есть длинное рассуждение о недвижности, неизменности ее, Софии, мировой души (чей символ — Прекрасная Дама) и о метаморфозе, вечной изменчивости, о множестве масок Астарты, начала противоположного Софии. (Письмо в I гл. воспоминаний Белого: «Зап. Мечт.» 1922, № 6).

тихих шахматовских дней, где и тени и свет переживались, как эпизоды какой-то нами водимой мистерии. Увы, А. А. в этом уже тогда провидел некоторую взвинченность, театральность и душевный «байрет», столь отталкивающий Ницше от Вагнера. Дело в том, что на Шахматово мы смотрели, как на своего рода будущий «Байрет» Блока-Вагнера, а «Вагнер-Блок» Вагнером себя не чувствовал, а чувствовал себя Ницше, борющимся с стремлением его друзей создать вокруг его одинокой души русский Байрет.

Я останавливаюсь на всех этих нюансах наших отношений друг к другу потому, что в них своеобразно очерчивается личность А. А., для всех автора «Стихотворений о Прекрасной Даме», а на самом деле уже автора «Нечаянной Радости», прозвучавшей таким «отчаянным горем»...

2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. ПЕРЦОВА[1]).

Осенью 1902 г. группа петербургских писателей-«декадентов» была занята организацией журнала «Новый Путь», — органа только недавно открытых тогда религиозно-философских собраний, «где впервые встретились друг с другом две глубокие струи — традиционная мысль традиционной церкви и новаторская мысль интеллигенции». Помимо религиозно-философских заданий, журнал ставил целью: «дать хоть какой-нибудь простор новым литературным силам, уже достаточно обозначавшимся и внутренне-окрепшим к тому времени, но все еще не имевшим своего «места» в печати». Во главе дела стояли Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус. П. П. Перцов, по выбору кружка, был третьим и внешне ответственным редактором журнала. По редакционным делам ему приходилось часто видеться с Мережковскими. Чтение стихов, в изобилии поступавших в редакцию, было «очередной редакторской неизбежностью». Но только один раз — вспоминает П. Перцов — у меня было совсем особое впечатление...

Помню, как сейчас, широкую серую террасу старого барского дома, осеннюю теплынь — и З. Н. Гиппиус с пачкой чьих-то стихов в руках. «Прислали (не помню от кого)... какой-то петербургский студент... Александр Блок... посмотрите... Дмитрий Сергеевич забраковал, а по-моему как-будто недурно»... Что Д. С. Мережковский забраковал новичка — это было настолько в порядке вещей, что само по себе еще ничего не говорило ни за, ни против. Забраковать сперва он, конечно, должен был во всяком случае, что не могло помешать ему дня через два, может быть, шумно «признать». Одобрение З. Н. Гиппиус значило уже многое, но все-таки оно было еще очень сдержанным. Поэтому я взял стихи без недоверия, но и без особого ожидания. Я прочел их...

Это были стихи из цикла «Прекрасной Дамы». Между ними отчетливо помню: «Когда святого забвения»... и «Я, отрок, зажигаю свечи». И эта минута на осенней террасе, на даче в Луге, запомнилась навсегда. «Послушайте, это гораздо больше, чем недурно: это, кажется, настоящий поэт» — я сказал что-то в этом роде. «Ну, уж вы всегда преувеличите», — старалась сохранить с осторожностью З. Н. Но за много лет

---

[1]) П. П. Перцов — писатель по литературным и религиозно-философским вопросам; автор книг: «Философские течения в русской поэзии». Спб. 1896 г. (2-е изд. Спб. 1900); «Венеция», Спб. 1905 и др. Петр Перцов «Ранний Блок». М. 1922.

разной редакционной возни, случайного и обязательного чтения «начинающих» и «обещающих» молодых поэтов только однажды было такое впечатление: пришел большой поэт. Может быть, я и самому себе, из той-же «осторожности», не посмел тогда сказать этими именно словами, но ощущение было это. Пришел кто-то необыкновенный; никто из «начинающих» никогда еще не начинал такими стихами. Их была тут целая пачка — и все это было необыкновенно. Ведь тут были: «Предчувствую тебя. Года проходят мимо»; «Новых созвучий ищу на страницах»; «Я к людям не выйду навстречу»; «Гадай и жди», был «Экклезиаст». Поражала прежде всего уверенность поэта — та твердая рука, которой все это было написано: это был уже мастер, а не ученик. Я думаю, во впечатлении, после темы (тоже необыкновенной) прежде всего господствовала именно эта черта — полной зрелости таланта, полной уверенности в том, что он хочет сказать и что говорит. Черта так непохожая на обычную «юношескую» неопределенность и несобранность «начинающих»... И этот почерк — такой уверенный, отчетливый и такой красивый! Я и сейчас не знаю почерка красивее, чем у Александра Блока.

Но подкупала, конечно, и тема. Точно воскресла поэзия Владимира Соловьева — ее последние, лучистые озарения. Это казалось прямо каким-то чудом: только два года перед тем замолчала муза мыслителя-ясновидца, и вот вдруг ее звуки переходят на новую лиру — кто-то пришел, как прямой и законный наследник отозванного певца...

Скоро он пришел к нам и в редакцию — высокий, статный юноша, с вьющимися белокурыми волосами, с крупными, твердыми чертами лица и с каким-то странным налетом старообразности на все-таки красивом лице. Было в нем что-то отдаленно байроническое, хотя он нисколько не рисовался. Скорее это было какое-то неясное и невольное сходство. Светлые, выпуклые глаза смотрели уверенно и мудро... Синий студенческий воротник подчеркивал эту вне-временную мудрость и странно ограничивал ее преждевременные права. Блок держался, как «начинающий», — он был застенчив перед Мережковским, иногда огорчался его небрежностью, пасовал перед таким авторитетом. З. Н. Гиппиус была для него гораздо ближе, и юношеская робость таяла в ее сотовариществе — он скоро стал носить ей свои стихи и литературно беседовать. Влияние Мережковских надолго сказалось на Блоке: еще в самом конце девятисотых годов он выступал не раз в религиозно-философских кружках с докладами на темы и в духе этого влияния...

На редакционных собраниях «Нового Пути» Блок появлялся довльно аккуратно, хотя отсутствие сверстников — по крайней мере первое время — замыкало его в некоторую изолированность. Но журнал был для него «своим» — и не мог не быть ему близок.

В «Новом Пути», после первого, дебютного номера (январь 1903), было решено применять систему печатания стихов по авторам: т.-е. в каждой книжке помещать одного какого-нибудь поэта в ряде пьес,

напечатанных вместе, взамен традиционной системы — рассыпать разнохарактерные «вещицы» различных авторов по всей книжке журнала «на затычку». Нехитрая реформа, но тогда и это было новшеством. Так февральская книжка была отдана Сологубу, а март предназначался для З. Н. Гиппиус. Но она сама пожелала уступить этот месяц Блоку: март казался самым естественным, даже необходимым месяцем для его дебюта: март — месяц Благовещенья. Со стороны молодого журнала была некоторая отвага в таком решении: выдвигать уже в третьей книжке дебютанта, о котором заранее можно было сказать, что «широкая публика» (публика 1903 года) не примет его, как своего певца... Но хотелось «пустить» Блока — и именно в марте. «Букет» его стихов составился легко и был подобран самим автором.

Какое было впечатление от появления первых стихов Блока? Разумеется, как и следовало ожидать, впечатление едва ли не самого «курьезного» из курьезов курьезнейшего журнала. «Новый Путь» считался вообще какой-то копилкой курьезов в нашей журналистике.

...Я не помню в тогдашней критике сколько-нибудь ярких отзывов о дебютных стихах Блока. Впрочем, кому было бы и написать такой отзыв? Скабичевскому? Михайловскому? М. Протопопову, А. Б. (Ангелу Богдановичу) из «Мира Божьего»? «На первых ролях» были тогда все вышеупомянутые силы. В беглом же газетном обстреле, которому постоянно подвергался «Новый Путь», летела, вероятно, шрапнель и на этот вновь наметившийся «квадрат»

Стихи Блока ведь еще несколько лет потом пугали газетных ценителей — так же, как после 1907 года стали умилять их... В нелишенных остроумия пародийных фельетонах Буренина того времени появлялся во всяком случае в нашей «новопутейской» компании поэт Блок, вместе с философом Мистицизмом Мистицизмовичем Миквой (Вас. Вас. Розанов).

---

3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. М. ГОРОДЕЦКОГО [1]).

Я встретился с ним в первый раз и познакомился на лекциях по сербскому языку проф. Лаврова. Я переходил на третий курс, он, должно быть, был на четвертом.

В старинном здании Петербургского университета — двенадцати коллегий — есть замкнутые, очень солнечные маленькие аудитории, где читают профессора, которых не слушают. Таким и был Лавров, читавший предмет обязательный, но скучный. Толстый, красный, сонный, он учил нас сербскому языку и читал нам былины. В сербском языке, в прошедшем времени, «л» переходит в «о»: «мойя майко помамио» — получается какой-то голубиный лепет. Блоку это нравилось, мне тоже, и, кажется, на этот именно предмет мы обменялись

---

[1]) Сергей Митрофанович Городецкий — поэт (род. 1884 г.), первый сборник стихов «Ярь», изд. 1907. Воспоминания напеч. в журн. «Печать и Революция». 1922, № 1.

с ним первой фразой. Он ходил в аккуратном студенческом сюртучке, всегда застегнутом, воротник был светло-синий (мода была на темные), волосы вились, как нимб, вокруг его аполлоновского лба, и весь он был чистый, светлый, я бы сказал, изолированный — от лохмачей, так же, как и от модников. Студентов было очень мало. Блок лекций не пропускал, и аккуратно записывал все, что говорил Лавров, в синие гимназические тетрадки. Я ходил редко, и Блок мне передал свои записки, несколько тетрадок. Там, ранним его почерком, записана вся сербская премудрость...

Не помню, как, но очень скоро выяснилось, что мы оба пишем стихи. Наметилась близость. Скоро я услышал Блока в литературном кружке пр.-доцента Никольского, где читали еще Семенов и Кондратьев, будущие поэты. Ничего не понял, но был сразу и навсегда, как все, очарован внутренней музыкой блоковского чтения, уже тогда имевшего все свои характерные черты. Этот голос, это чтение, может быть единственное в литературе, потом наполнилось страстью — в эпоху «Снежной Маски», потом мучительностью — в дни «Ночных Часов», потом смертельной усталостью — когда пришло «Возмездие». Но ритм всю жизнь оставался все тот же, и та же все была напряженность горения. Кто слышал Блока, тому нельзя слышать его стихи в другом чтении...

Кружок собирался в большой аудитории «Jeu de pomme'a»—так называлось старое здание во дворе университета. Все сидели за длинным столом, освещаемым несколькими зелеными лампами. Тени скрадывали углы, было уютно и ново. Лысый и юркий Никольский, почитатель и исследователь Фета, сам плохой поэт, умел придать этим вечерам торжественную интимность. Но Блока не умели там оценить в полной мере. Пожалуй, больше всего выделяли Леонида Семенова, поэта талантливого, но не овладевшего тайной слова, онемевшего, как Александр Добролюбов[1]), и сгинувшего где-то в деревнях.

Встречи с Блоком в университете всегда мне были радостны. Правда, болтливой студенческой беседы с ним никогда не выходило, но он умел простым словам придавать особую значительность. По типу мышления он с ранних лет был подлинным символистом. Бодлэровские «корреспондансы» я постиг впервые у него.

Летние вакации нас разлучили — он уехал в Шахматово, на станцию Подсолнечное, записав мне свой адрес, и за лето мы обменялись несколькими письмами. Осенью мы встретились уже у него.

Он жил тогда в Семеновских казармах на Невке, и весь второй цикл стихов о «Прекрасной Даме», где дается антитеза первому облику Девы, тесно связан с этой фабричной окраиной. Огромная казарма на берегу реки со всех сторон окружена фабриками и жилищами рабочих. Деревянный мост, — не тот ли самый, на котором стояла Незнакомка, — дает вид в одну сторону на блестящий город, в другую — на фабрики. По казенным лестницам и корридорам я пробегал к высокой казенной двери, за которой открывалась квартира полков-

---

[1]) См. А. Добролюбов. Собр. стихов. Предисловие И. Коневского («К исследованию личности А. Добролюбова). М. 1900; см. статью Л. Гуревич в Ист. Русск. Лит. XX в. под ред. С. Венгерова. Л. Семенов. Совр. стих. Спб. 1905.

ника Кублицкого-Пиоттух, мужа Александры Андреевны, матери Блока, и в этой квартире две незабвенных комнаты, где жил Блок.

Я их помню наизусть.

Первая — длинная, узкая, со старинным диваном, на котором отдыхал когда-то Достоевский, белая, с высоким окном; аккуратный письменный стол, низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова Исадоры Дункан, Монна Лиза и Мадонна Нестерова. Ощущение чистоты и молитвенности, как в церкви. Так нигде ни у кого не было, как в этой первой комнате Блока. Вторую я не любил — большая, с мягкой мебелью, обыкновенная.

Навстречу выходил Блок, в длинной рабочей куртке с большим белым воротником, совсем не студент, а флорентиец раннего ренессанса, и его «Прекрасная Дама», тоже, как со старинной картины, в венецианских волосах. Потом переходили в гостиную и столовую. Приходили Андрей Белый и Евгений Иванов, Татьяна Гиппиус [1]). За чаем начиналась беседа, читались стихи. О чем говорили? Некоторые темы помню: о синтезе искусств, о пути «a realibus ad realiera» — по позднейшему термину Вячеслава Иванова. Я участвовал и понимал, поскольку беседа была общей, поскольку говорили и Евгений Иванов, и Александра Андреевна. Но вдруг Белый и Блок уходили в туман и, уставившись друг на друга, подолгу говорили о чем-то своем, словами обыкновенными, но уже ассоциированными с особыми, им одним понятными переживаниями. Рождался мир образов, предчувствий, намеков, соответствий, — та музыка слов, откуда вышли и «Симфонии» [2]) и все метаморфозы «Прекрасной Дамы». Потом опять шли в белую келью и поздно расходились. Чудесно было бежать далеко домой по ночному городу с горячей головой.

Блок и тогда был чутким критиком. Я уверен, что он никогда никого не оттолкнул из осаждавших его бесчисленных начинающих поэтов. Я писал тогда еще совершенно дрянные детские стихи и никому, кроме Блока, и нигде, кроме как у него, их не читал. И такого прямого и нежного толчка к развитию и творчеству, как от косноязычных реплик Блока, я никогда и позднее не имел, даже от самых признанных критиков—от них всего менее. И чрезвычайно тонко вселил он в меня благотворный скепсис к редакциям и уверенность в важности своего личного пути для каждого, когда я стал посылать в редакции, и их решительно нигде не брали в печать. Сам Блок уже напечатал свои стихи в «Новом Пути». Помню, как я бегал в Публичную Библиотеку читать лиловые книжки. Помню, как в университете Блок торжественно мне передал первую свою книжку с ласковой надписью — грифовское издание, с готическим рисунком на обложке, который я тут же опротестовал, как ложь и несоответствие. Для литературного университета книжка была праздником. Молодежь догадалась о ее значении раньше, чем критика. Я упорно многого не понимал и требовал объяснений непонятных мест, совсем, как знаменитые критики того времени. Блок ничего объяснить не мог и только улыбался своей безмятежной

---

[1]) Художник.
[2]) А. Белого.

и каменной улыбкой греческой статуи. Для него тогда был трудный первый период. К выходу книги уже определился раскол в его центральном образе, и небесные черты Девы, встреченной в храме, уже болезненно искажались, подготовляя образ Незнакомки. Райская чистота первых видений уже столкнулась с миром фабричных перекрестков. Поставленные в первой книге теза и антитеза расширялись и раздирали поверхностный синтез последнего стихотворения книги. Все юношеские муки мысли, ставшие известными только теперь по недавно обнародованным стихам периода до «Прекрасной Дамы», обнажались под первыми проблесками уже шедшей революции. Блок «Прекрасной Дамы» уже тогда спорил с Блоком «Двенадцати». И этот внутренний спор приходилось выдерживать ему и вести одному, потому что литературное болото «Нового Пути» и немного позднее — «сред» Вячеслава Иванова старалось закрепить, зафиксировать, сделать стилем Блока только тезы, Блока мистики деревенской церкви. В обоих лагерях критики, как шипящей, так и кадившей, не было ни одного голоса, который оценил бы и двинул Блока антитезы, Блока фабричных перекрестков. Теперь это может быть ясно всем, — тогда это никому не было видно, и если Блок пришел к «Двенадцати», — в этом его личный подвиг, в этом его величайшая победа над мещанской средой, засасывавшей тогда его первоцвет так же, как теперь засасывается его память.

Тревожный, ищущий, обворожительно кроткий, встретил Блок пятый год. Помню, как Любовь Дмитриевна с гордостью сказала мне: «Саша нес красное знамя» — в одной из первых демонстраций рабочих. Помню, как значительно читал он стихотворение, только что написанное, где говорится о рыцаре на крыше Зимнего Дворца, склонившем свой меч[1]). Бродили в нем большие замыслы. Он говорил, что пишет поэму — написал только отрывок о кораблях, вошедший в «Нечаянную Радость». Эта зима, с черными силуэтами детей, подстреленных 9 января на деревьях Александровского сада, с казачьими патрулями, разъезжавшими по городу, была для него зимой большого творчества, давшего позднее «Нечаянную Радость», основные темы которой зрели тогда. Прилив сил, освеженное чувство природы, детски-чистое ощущение цельности мироздания дал Блоку пятый год. Летом он увидел болотного попика, бога тварей, что было большой дерзостью тогда. Долго искал он объединяющего названия для новой книги. Помню, Белый, на узеньком листике, своим порхающим почерком, набросал около десятка названий — было среди них: «Зацветающий посох». К выходу книги Блок остановился на «Нечаянной Радости». Но гибель революции пятого года и связанный с ним расцвет мистического болота не дал всем этим исканиям развернуться в полнозвучную песню. Все же эта книга остается единственной книгой радости Блока. Дальше пошли пытки и голгофы. К этому периоду относится время наибольшей моей дружбы с ним. Я жил в Лесном. Блок умел и любил гулять в лесу, на окраинах. Мы ходили весной через

[1]) «Еще прекрасно серое небо»... Собр. соч., т. II.

Удельный парк, к Озеркам, зеленый семафор горел на алой заре. Летом мы опять переписывались. Мужественно-здорового, крепкого, деревенского много было в Блоке этого периода. Мистическая дымка первых дней отлетела от него, тревога и хмель снежной ночи еще не нахлынули. Он еще не думал о театре, родившемся из его раздвоенности. Северная сила была в нем, без неврастении Гамсуна, без трагедий Ибсена. Была возможность Блока, нигде не узнанного, каким он был бы, если бы пятый год был семнадцатым. Была возможность могучего сдвига таланта в сторону Пушкина (от Лермонтова — властителя ранних дум Блока) и Толстого (от Вл. Соловьева, сознательно взятого в вожди в первый период). Этого Блока выявить и высвободить нужно, чтобы понять огромный запас сил, с каким он совершил свое нисхождение в провал между пятым и семнадцатым годами. Но история готовила ему другую службу. Реакция убила его Сольвейг и от музыки зеленого леса привела его к арфам и скрипкам цыганского оркестра. Важно указать, что он знал и любил себя — силача, здоровяка. Никогда после он так хорошо не умел смеяться, как в этот период. Помню, играли мы втроем: он, я и Вл. Пяст, пародируя названия книг и фамилии новых поэтов. «Александр Клок» — предложил он про себя — и «Отчаянная Гадость» («Нечаянная Радость»)...

Осенью начались «среды» Вячеслава Иванова, на Таврической, над Государственной Думой. Я там не бывал. Блок бережно меня от них отстранял. Попрежнему мы встречались только у него. Подвел Пяст. В конце года он привел меня на «башню», как назывались чердачные чертоги Вячеслава. В виду того, что в период «Снежной Маски» среды сыграли для Блока большую роль, нужно на них, немного забегая вперед, остановиться. Большая мансарда с узким окном прямо в звезды. Свечи в канделябрах. Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал[1]) в хитоне. И вся литература, сгруппировавшаяся около «Нового Пути», переходившего в «Вопросы Жизни». Бывали мистики:— троица: Мережковский, Гиппиус, Философов; Бердяев[2]); профессура и доцентура: Зелинский, Ростовцев, Евгений Аничков; Георгий Чулков, творивший тогда свой «мистический анархизм» и «Факелы»[3]), Валерий Брюсов, Блок, Андрей Белый, Бальмонт, Сологуб, Ремизов, Эрберг; критики только что нарождавшихся понедельничных газет— Чуковский и Пильский; писатели из «Знания»[4]) — Леонид Андреев, Семен Юшкевич; затем эстеты — Рафалович, Осип Дымов, Сергей Маковский, Макс Волошин; был представлен и марксизма—Столпнером и, кажется, один раз Луначарским; художники — Сомов, Бакст, Добужинский, Бенуа и, наконец, молодежь: Кузмин, Пяст, Рославлев, Яков Годин, Модест Гофман. Собирались поздно. После двенадцати Вячеслав или Аничков, или еще кто-нибудь делали сообще-

---

[1]) Л. Д. Зиновьева-Аннибал — писательница; автор книг: «Трагический зверинец», 1907; «Тридцать три урода». 1908.

[2]) Д. Философов — автор статей по вопросам религии и общественности Н. А. Бердяев — философ.

[3]) Г. Чулков. О мистическом анархизме. Со статьей Вяч. Иванова «О неприятии мира». Спб. 1906; «Факелы» — сборники литературы и философии. Под ред. Чулкова.

[4]) «Знание» — издательство, сгруппировавшее писателей-реалистов.

ние на темы мистического анархизма, соборного индивидуализма, страдающего бога эллинской религии, соборного театра, Христа и Антихриста и т. д. Спорили бурно и долго. Блестящий подбор сил гарантировал каждой теме многоцветное освещение, — но лучами все одного и того же волшебного фонаря мистики. Маленький Столпнер возражал язвительно и умно, но один в поле не воин. Надо отдать справедливость, что много в этих средах было будоражащего мысль, захватывающего и волнующего, но, к сожалению, в одном только направлении. После диспута, к утру, начиналось чтение стихов. Это проходило превосходно. Возбужденность мозга, хотя своеобразный, но все же исключительно высокий интеллект аудитории создавали нужное настроение. Много прекрасных вещей, вошедших в литературу, прозвучали там впервые. Оттуда пошла и «Незнакомка» Блока. В своем длинном сюртуке, с изысканно-небрежно повязанным мягким галстухом, в нимбе пепельно-золотых волос, он был романтически прекрасен, тогда, в шестом-седьмом году. Он медленно выходил к столику со свечами, обводил всех каменными глазами и сам окаменевал, пока тишина не достигала беззвучия. И давал голос, мучительно-хорошо держа строфу и чуть замедляя темп на рифмах. Он завораживал своим чтением, и когда кончал стихотворение, не меняя голоса, внезапно, всегда казалось, что слишком рано кончилось наслаждение и нужно было еще слышать. Под настойчивыми требованиями он иногда повторял стихи. Все были влюблены в него, но вместе с обожанием точили яд разложения на него. В конце 5-го года и в 6-м среды Вячеслава еще имели некоторую связь с революцией, с общественностью. Но выявление их и развитие шло в сторону интеллигентского сектантства, мистической соборности, выставляемой против анархизма личности, тоже поощряемого. Все более накипало гурманства в отношении к темам. Ничего не решалось крепко и ясно. Процесс обсуждения был важнее самого искомого суждения. Целью художнику ставилось итти от земной реальности к реальности небесной через какие-то промежуточные звенья сознания, которые именно и должен был уловить поэт-символист путем изображения «соответствий».

В конце концов, всю эту хитрую музыку каждый понимал по-своему. Но она постулировалась как всеми искомая единственная истина. Возражали: будущие богоискатели, марксисты, реалисты, но настроение давал Вячеслав. От идеи страдающего Диониса, и следовательно, поэта-жертвы, он уже начинал переходить к идее «совлечения», «нисхождения», применяемой к исторической судьбе России [1]). Достоевский назывался «Федором Михайловичем», как сообщник и хороший знакомый.

Чем больше разгоралась реакция, тем более среды заинтересовывались идеями эротики. Правда, здесь никогда не ставились «проблемы пола», и Вербицкая была в презрении, но по существу-то разница была только в марке. Из этой хитрой музыки выявлялись самые разнообразные течения. Чулков спелся с Вячеславом на теме «мистического

---

[1]) Теоретические статьи Вяч. Иванова по символизму собраны в его книгах: «По звездам» (статьи и афоризмы). М. 1911; «Борозды и межи». Опыты эстетические и критические. М. 1916.

анархизма» и ловил на «факелы» Андреева и Блока. Первый папался больше, чем второй. Молодой студент Модест Гофман «изобрел» соборный индивидуализм». Но все было замкнуто в узком мистико-эротическом, интеллигентски-самодовольном кругу. Запах тления воспринимался как божественный фимиам. Сладко-дурманящая, убаюкивающая идейными наркозами атмосфера стояла на «Башне», построенной «высоко над мороком жизни».

Дурман все сгущался. Эстетика сред все гуще проникалась истонченной эротикой. Кузмин пел свои пастушески-сладострастные «Александрийские песни», Сомов и Бакст были законодателями вкусов живописи, пряно-чувственного, у первого через призму помещичьей жизни, у второго через античность. «Бурно ринулась менада, словно лань, словно лань», без конца читал Вячеслав свое любимое всеми стихотворение. Все были жрецами Диониса. На этом Парнасе бесноватых Блок держался как «бог в лупанаре» (название стихотворения Вячеслава, обращенного к Блоку). Но душа его была уже в театре, что означало победу в нем лирики над эпосом, ночи — над солнцем, мистики — над революцией [1]).

Из трех его «лирических драм» только в отдельных местах — «Короля на площади» и в сатиристических сценах буржуазной гостиной «Незнакомки» — чувствуется Блок, несший красное знамя с рабочими пятого года. «Балаганчик» же, за исключением сцены заседания мистиков,—целиком мистико-эротический дурман, рожденный реакцией. Именно он стал любимой пьесой в театре Комиссаржевской Мейерхольда. Театр сильно увлек Блока. Первому представлению «Балаганчика» 31 декабря 1906 г. — предшествовал целый ряд чтений пьесы у Блока и Вячеслава. Пьеса заколдовывала внимание. Это, пожалуй, единственная пьеса русской романтики со всеми ее непременными чертами: ироническим реализмом и мистической мечтой. Тема арлекинады целиком вышла из предыдущих стихов Блока. Арлекинада — любимый лейт-мотив Блока («Двенадцать»—тоже арлекинада). Вокруг «Балаганчика» сразу создалась борьба защитников и возражателей. Последние много нападали на структуру пьесы, построенной как лирическое стихотворение. Театр Мейерхольда как нельзя лучше осуществил трудные задания автора. Музыка Кузмина, особенно вальс, затягивала в сладкий омут. Декорации Сапунова отлично передавали мистически-чувственный колорит пьесы. Мейерхольд в тревожных mise-en-scène чутко уловил символику блоковских образов. Это была безусловная победа театра. На первом представлении Блок маской торжественности скрывал большое беспокойство. Театр был первым его исходом из узкого круга лирики, — исходом, которого он искал всю жизнь. Аплодисменты и шиканье встретили спуск занавеса. Но мастер был доволен. В зимних метелях уже мелькал облик «Снежной маски». Вокруг Блока очертился магический круг. Внешне он совершенно ясен: среды Вячеслава, вечера у Комиссаржевской, ее театр, вечера у Веры Ивановной, только-что сыгравшей Раутенде-

---

[1]) О «средах» В. Иванова см. в биогр. Блока, написанной Княжниным (стр. 88 и сл.); «Ивановские среды»—статья Н. Бердяева в VIII вып. «Русск. Литература XX века» под ред. С. Венгерова.

лейн в театре Суворина, ночные поездки парами на лихачах на острова, «Снежная Маска». Из магического круга своей белой комнаты, своей первой юности, Блок вошел в другой круг, более глубокий, ниже, ближе к аду, но тоже замкнутый, — круг театра, мятели, страсти. Кажется, он был счастлив. По крайней мере, он был наиболее красив в этот период. Осознав себя мастером, почуяв в театре Мейерхольда простор, счастливый в страсти, Блок маленький вальс своего круга воспринимал как мировое вихрение. Но не надолго. «Мрежи иные» его ожидали, «иные заботы».

4. ИЗ ИСТОРИИ «БАЛАГАНЧИКА»

(Воспоминания Г. И. Чулкова)[1].

...«Идеальной постановкой маленькой феерии «Балаганчик» я обязан В. Э. Мейерхольду, М. А. Кузмину и Н. Н. Сапунову»[2], — писал А. А. Блок в августе 1907 г., т.-е. спустя восемь месяцев после постановки пьесы. Первое представление состоялось 31-го декабря 1906 года. Все, кто был на этом первом представлении «Балаганчика», помнят, какое странное волнение охватило зрительный зал, какое началось смятение в партере, когда замерли последние звуки острой, пряной, тревожной и сладостной музыки Кузмина и занавес отделил зрителей от загадочного и волшебного мира, в котором жил и пел поэт Пьеро. Я никогд ни до, ни после не наблюдал такой непримиримой оппозиции и такого восторга поклонников в зрительном зале театра. Неистовый свист врагов и гром дружеских аплодисментов смешались с криками и воплями. Это была слава. Было настоящее торжество. Редакция газеты, в которой я писал тогда театральные рецензии, отказалась на другой день поместить мою статью, благоприятную для Блока и режиссера, ссылаясь на то, что я слишком близко стою к поэту и к театру и потому пристрастен в моей оценке. Формально редакция газеты была права: еще до начала репетиций я читал актерам пояснительное слово к «Балаганчику», и В. Э. Мейерхольд не случайно в описании спектакля посвятил эту постановку мне[3]). Но по существу редакция была не права. Теперь, когда прошло 15 лет, для всех очевидно, что постановка «Балаганчика» — один из значительных этапов в истории русского искусства. Как он был поставлен? Вот приблизительная внешняя схема постановки в изложении режиссера: «Вся сцена по бокам и сзади завешена синего цвета холстами; это синее пространство служит фоном и оттеняет цвета декораций маленького театрика, построенного на сцене... Перед театриком на сцене, вдоль линии рампы, оставлена свободная площадка. Здесь появляется автор, как бы, служа посредником между публикой и тем, что происходит на малень-

---

[1]) Напеч. в журн. «Культура Театра». 1921, № 7—8.

[2]) А. Блок. «Лирические драмы». Спб. 1908. М. А. Кузмин написал к пьесе музыку, Н. Н. Сапунов — декорации. См. письмо к Мейерхольду и воспоминания С. Городецкого.

[3]) Вс. Мейерхольд. Несколько слов по поводу постановки лирич. драм Блока «Незнакомка» и «Балаганчик». Журн. «Любовь к трем апельсинам». 1914, № 4—5.

кой сцене. Действие начинается по сигналу большого барабана; сначала играет музыка, и видно, как суфлер влезает в будку и зажигает свечи... На сцене длинный стол, до пола покрытый черным сукном, поставленный параллельно рампе. За столом сидят мистики так, что публика видит лишь верхнюю часть их фигур. Испугавшись какой-то реплики, мистики так опускают головы, что вдруг за столом остаются бюсты без голов и без рук. Оказывается, это из картона были выкроены контуры фигур и на них сажей и мелом намалеваны были сюртуки, манишки, воротнички и манжеты. Руки актеров просунуты были в круглые отверстия, вырезанные в картонных бюстах, а головы лишь прислонены к картонным воротничкам... Арлекин впервые появляется из-под стола мистиков. Когда автор выбегает на просцениум, ему не дают договорить начатой им тирады, за фалды сюртука кто-то невидимый оттаскивает его назад за кулисы»... — И все в таком роде... На сцене торжествует откровенный шарж и гротеск, ничем не смягченный и не подслащенный. Очаровательные и дерзкие краски костюмов и декораций, созданных тогда Н. Н. Сапуновым, и увлечение актеров, влюбившихся в поэта и его создание, сделали этот спектакль совершенно исключительным по цельности плана и согласованности игры, декораций, музыки и самого поэтического текста.

Каково же происхождение этого текста? Я позволю себе сделать маленькую историко-литературную справку. У Блока есть небольшое стихотворение, написанное, повидимому, в 1904 или 1905 году— «Балаганчик» («Вот открыт балаганчик»[1]). В конце 1905 г. я предложил А. А. разработать в драматическую сцену тему этого стихотворения. Я просил у него эту вещь для альманаха «Факелы», который я в то время подготовлял к печати. Блок согласился.

21-го января 1906 г. А. А. писал мне: «Дорогой Георгий Иванович! Надеюсь, что успею написать «Балаган», может быть, даже раньше, чем Вы пишете. Вчера много придумалось и написалось. Как только кончу, дам Вам знать»... 23-го января 1906 г. другое письмо: «...Балаганчик кончен, только не совсем отделан. Сейчас еще займусь им. Надеялся вчера видеть Вас у Сологуба, чтобы сообщить. Во многом сомневаюсь. Когда можно будет почитать его?...».

...Историко-литературный и сравнительно-психологический анализ сттихотворения и пьесы под тем же названием «Балаганчик» без труда устанавливают связь этих двух произведений. Характерно для Блока то, что не прямая идейная схема, а существенный образ— символ предопределял для него всегда подготовлявшееся поэтическое творение. Так и здесь: паяц, перегнувшийся через рампу с криком— «Помогите! Истекаю я клюквенным соком»... — послужил темою для создания театрального «Балаганчика».

Если же от внешнего перейти к внутреннему и попробовать восстановить психологию Блока, придется признать некоторую зависимость поэта от тех переживаний, которые возникли тогда в петербургском обществе или, по крайней мере, в известных его кругах. Это была эпоха переоценки ценностей, эпоха, когда поэты рискнули заподозрить

---

[1]) Стих. написано в июле 1905 г.

многие святыни, когда какой-то странный хмель кружил головы тем, кто полусознательно вошел в круг предчувствий, связанных с первым революционным взрывом 1905 — 1906 г.г. Были даже попытки идеологически обосновать этот романтический опыт. Одной из таких попыток, на мой теперешний взгляд, попыток неудачных, была моя книга — «О мистическом анархизме» — со вступительной статьей Вяч. Иванова. Но вот что Блок писал мне тогда — 7-го июля 1906 г.: «Дорогой Г.И.! За книгу с надписью большое спасибо. Все лето думаю о многом, связанным с этой книгой. Прочел и еще буду возвращаться... Ваши краткие статьи, как стрелы — одна за другой — ранят, пролетая, но откуда и куда летят — неизвестно. Многое попадает прямо в сердце. Вы пишете жестоко и справедливо. Самое жестокое теперь — сказать: «социализм, — по счастью, — перестал быть мечтой». Это главное, что жалит пока; в таких словах в наше время — *полная правда;* а это так редко в литературе вообще. Вывод из них: весь табор снимается с места и уходит бродить после долгой остановки. А над местом, где был табор, вьется воронье. Это — жестокая правда социализма в его современной фазе.

Этот вывод не связан с предыдущим, с событиями эпохи императора Александра III и писателя Лейкина; не связан до такой степени, что люди богомольные сочтут его наказанием за грехи и, по своему, будут правы: копили, копили, — и вдруг все отдать, включая сюда письма невесты и кусок гвоздя, которыми приколачивали ко кресту Христа. Это социализм и мистический анархизм — оба об этом говорят, и оба не учение, так же как мистика и анархия, каждая отдельно: потому, что они говорят о поступках, а на поступки решаются, не учась. Может быть, теперь особенно надо, решаясь на поступок, многое забыть и многому разучиться»...

Вот как думал и рассуждал Александр Блок в ту эпоху, когда создавал свой «Балаганчик».

5. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. А. ЗОРГЕНФРЕЯ[1]).

...Поздней весною 1906 года, к вечеру светлого воскресного дня приехал я в Лесной, на дачу к С. Городецкому. Из собравшихся помню, кроме хозяев, А. М. Ремизова, К. А. Эрберга, П. П. Потемкина[2]). Едва уселись за стол на балконе, как появился запоздавший несколько А. А. Первое впечатление — необычайной светлости и твердости — осталось навсегда, и в течение долгого, немеркнущего весеннего петербугского дня пополнилось новыми, радостными впечатлениями. Таким, конечно, должен был быть А. А.; таким только и мог он быть...

Описывать чью бы то ни было наружность — трудная задача; описать наружность Блока — труд ответственный и, чувствую, для

---

[1]) В. А. Зоргенфрей — поэт. Автор сборника стих. «Страстная суббота». Пб. 1922. Его воспоминания о Блоке (за годы 1906—1921) написаны в декабре 1921 года и напечатаны в «Записк. Мечтат.». 1922, № 6.

[2]) А. М. Ремизов — беллетрист; К. А. Эрберг — автор книг по вопросам эстетики и литературы.

П. П. Потемкин — поэт.

меня непосильный. Между тем, с каждого из видевших Блока, спросится. Портреты и фотографические снимки не удовлетворят потомков, как нас не удовлетворяют изображения Пушкина — мы ищем живых свидетельств в записках современников, записках скудных и неопределенных, и до сих пор работою воображения пополняем недочеты изобразительных средств того времени...

...В тот весенний день увидел я человека роста значительно выше среднего; я сказал бы: высокого роста, если бы не широкие плечи и не крепкая грудь атлета. Гордо, свободно и легко поднятая голова, стройный стан, легкая и твердая поступь. Лицо, озаренное из глубины светом бледно-зеленоватых, с оттенком северного неба, глаз. Волосы слегка вьющиеся, не длинные и не короткие, светло-орехового оттенка. Под ними — лоб широкий и смуглый, как бы опаленный заревом мысли, с поперечной линией, идущей посредине. Нос прямой, крупный, несколько удлиненный. Очертания рта твердые и нежные — и в уголках его едва заметные в то время складки. Взгляд спокойный и внимательный, остро и глубоко западающий в душу. В матовой окраске лица, как бы изваянного из воска, странное в гармоничности своей сочетание юношеской свежести с какой-то изначальною древностью. Такие глаза, такие лики, страстно-бесстрастные — на древних иконах; такие профили, прямые и четкие — на уцелевших медалях античной эпохи. В сочетании прекрасного лица со статною фигурой, облеченной в будничный наряд современности — темный пиджачный костюм с черным бантом под стоячим воротником — что-то, говорящее о не-русском севере, может быть, о холодной и таинственной Скандинавии. Таковы, по внешнему облику, в представлении нашем, молодые пасторы Христиании или Стокгольма; таким, в дни подъема и твердости душевных сил, являлся окружающим Иеста Берлинг, вдохновенный артист, «обольститель северных дев и певец скандинавских сказаний».

Конечно, я не запомнил в точности разговоров того вечера. Беседа велась в буднично-шутливом тоне; темою служили по преимуществу события текущей литературно-художественной жизни. Сидя над тарелкой с холодным мясом, А. А. спокойно и внимательно прислушивался к перекрестным застольным разговорам и лишь изредка давал ответы на порывистые замечания Городецкого, толковавшего о сборнике «Факелы», и тут же, при помощи нескольких спичек, изображавшего эти факелы в натуре. Кажется, в эти дни А. А. покончил с государственными экзаменами и не без удовольствий сообщил, что продал свое студенческое пальто. Из высказанного им помню, что на чей то вопрос — кого он более ценит, как поэта, Бальмонта или Брюсова, А. А. ответил, не колеблясь, что — Бальмонта.

Встав из-за стола, пошли в парк и долго бродили в окрестностях Лесного, руководимые Городецким. Весеннее, несколько приподнятое настроение владело всеми. Городецкий проявлял его бегом и прыжками, умудряясь на ходу цитировать и пародировать множество стихов, своих и чужих; А. М. Ремизов подшучивал над Эрбергом, именуя его «человеком в очках» и утверждая, что он впервые видит деревья и траву и крайне всему этому удивляется; Блок мягко улыбался,

храня обычную неторопливость движений и внимательно ко всему прислушиваясь. Встретив на дорожке преграду, в виде невысокого барьера, Городецкий через него перепрыгнул и предложил то же сделать другим; кое-кто попытался, но Блок, помню, обошел барьер спокойно и неторопливо.

Вернувшись, уселись в круг и принялись за чтение стихов. Та пора — 1906 год — была порою расцвета поэтической школы, душой которой и тогда уже был Блок, а главою которой был признан много лет спустя. Каждый день дарил поэзию новыми радостями, и роскошество ее стало для нас явлением привычным. Но, даже избалованные обилием красоты, внимали мы в тот вечер с наново напряженным благоговением Блоку, прочитавшему три свои недавние, никому из нас неизвестные стихотворения: — «Нет имени тебе, мой дальний», «Утихает светлый ветер», и «Незнакомка».

Я впервые слышал Блока; впервые к магии его слов присоединилась для меня прелесть голоса, глубокого, внятного, страстно-приглушенного. Тысячи людей слышали за последние годы, как говорит и читает Блок; они, конечно, не забудут. Но что останется другим, тем, кто от нас узнает имя Блока? Свистящая граммофонная пластинка, передающая произведенную в 1920 году запись голоса А. А. — прослушав которую, он, по словам очевидцев, помолчал и сказал потом: «Тяжелое впечатление»...[1]).

Охарактеризовать чтение Блока так же трудно, как описать его наружность. Простота — отличительное свойство этого чтения. Простота — в полном отсутствии каких бы то ни было жестов, игры лица, повышений и понижений тона. И простота — как явственный, звуковой итог бесконечно сложной, бездонно-глубокой жизни; тут же, в процессе чтения стихов, созидаемой и утверждающейся. Ни декламации, ни *поэтичности*, ни ударного пафоса отдельных слов и движений. Ничего условно-актерского, эстрадного. Каждое слово, каждый звук окрашены только изнутри, из глубины наново переживающей души. В тесном дружеском кругу, в случайном собрании поэтов, с эстрады концертного зала читал Блок одинаково, просто и внятно обращаясь к каждому из слушателей — и всех очаровывая.

Так было и в тот памятный день. Названные мною три стихотворения — и «Незнакомка» по преимуществу — были началом, сердцем новой эры его творчества; из них вышла «Нечаянная Радость». Помню, «Незнакомка», недавно написанная и прослушанная нами весенним вечером, в обстановке «загородных дач», после долгой прогулке по пыльным улицам Лесного, произвела на всех мучительно тревожное и радостное впечатление, и Блок, по просьбе нашей, читал эти стихи вновь и вновь.

...Вслед затем читали другие; но из прослушанного ничего не запомнилось, да и слушать не хотелось. Настроение, приподнятое вначале, улеглось; разговоры повелись шопотом. А. А. с обычной готовностью записал кое-кому стихи в альбомы и с улыбкой подошел

---

[1]) См. еще статью В. Пяста: «О чтении Блоком стихов». Сборник «Об Ал Блоке». Пб. 1921.

ко мне — благодарить за только что присланные стихи, ему посвященные. Стихи были слабые, и я чувствовал себя до крайности смущенным; не останавливаясь на них, А. А. перешел к прочитанным мною в тот вечер стихотворениям. Несколько слов его как всегда неожиданных и внешне смутных, были для меня живым свидетельством его пристального внимания. Просто — и я это ясно понял — не в формах обычной литературной общительности А. А. пригласил меня навестить его; тогда же мы условились о дне встречи, и А. А. сделал то, что часто делал и в дальнейшем и что каждый раз внушающе на меня действовало: вынул записную книжку небольшого размера и пометил в ней день и час предположенного свидания. Черта аккуратности — эта далеко не последняя черта в сложном характере Блока впервые открылась мне.

В том году Блок переехал с квартиры в Гренадерских казармах на другую — кажется, Лахтинская, 3. Там побывал я у него впервые. Помню большую, слабо освещенную настольною электрическою лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке, фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу — тот, что и всегда до конца дней был с Блоком. Тишина, какое то тонкое, неуловимое в простоте источников изящество. И у стола — хозяин, навсегда мне отныне милый. Прекрасное бледное в полумраке лицо; широкий мягкий отложной белый воротник и свободно сидящая суконная черная блуза — черта невинного эстетизма, сохраняемого исключительно в пределах домашней обстановки. Таким изображен он на известном фотографическом снимке того времени; таким я видел его не раз и в дальнейшем. Но, насколько знаю, никогда не появлялся он в этом наряде вне дома. В кругу приятелей-поэтов в театре, на улице, был он одет как все, в пиджачный костюм или в сюртук, и лишь иногда пышный черный бант вместо галстука заявлял о его принадлежности к художественному миру. В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты и, вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос, стал курить папиросы обыкновенные.

Правда, внешнее изящество — в покрое платья, в подборе мелочей туалета сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились повидимому первоклассным портным. Перчатки, шляпа «от Вотье». Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А. Ремесло поэта не наложило на него печати. Никогда — даже в последние трудные годы — ни пылинки на свеже выутюженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе, как на расправку. Ботинки во всякое время начищены, белье безукоризненной чистоты; лицо побрито и невозможно его представить иным (иным оно предстало после болезни, в гробу).

В последние годы, покорный стилю эпохи и физической необходимости, одевался Блок иначе. Видели его в высоких сапогах,

зимою в валенках, в белом свитере. Но и тут выделялся он над толпой подчинившихся обстоятельствам собратий. Обыкновенные сапоги казались на стройных и крепких ногах ботфортами; белая вязаная куртка рождала представление о снегах Скандинавии.

Возвращаюсь к вечеру на Лахтинской, к полумраку рабочей комнаты, где, в просторной черной блузе, Блок предстал мне стройным и прекрасным юношей итальянского Возрождения. Беседа велась на темы литературные по преимуществу, если можно назвать беседой обмен трепетных вопросов и замечаний с моей стороны и прерывистых, напряженно-чувствуемых реплик А. А., идущих как бы из далекой глубины, не сразу находящих себе словесное выражение. Неожиданным, по началу, показалось мне спокойное и вдумчивое отношение А. А. к лицам и явлениям поэтического мира, выходившим далеко за пределы родственных ему течений. Школа, которой духовным средоточием был он, не имела в нем слепого поборника — мыслью он обнимал все живое в мире творчества и суждения свои высказывал в форме необычайно мягкой, близкой к неуверенности. О себе самом, не взирая на наводящие мои вопросы, почти не говорил, но много и подробно расспрашивал обо мне и слушал мои стихи; не проявляя условной любезности хозяина или величавой снисходительности маэстро, ограничивался замечаниями относительно частностей, или же просто и коротко, но чрезвычайно убежденно говорил, правдиво глядя в глаза: «нравится» или «вот это не нравится». Так, насколько я заметил, поступал он в отношении всех.

Когда я уходил, за стеною кабинета, в смежной квартире, раздалось негромкое пение; на мой вопрос — не тревожит ли его такое соседство, А. А., улыбаясь, ответил, что живут какие то простые люди, и чей то голос поет по вечерам: «десять любила, девять разлюбила, одного лишь забыть не могу» — и что это очень приятно. Еще одна черта блоковского гения открылась мне, прежде чем певец Прекрасной Дамы, Незнакомки и Мэри сказался по новому в стихах о России.

После того, виделся я с Блоком часто. С Петербургской стороны переехал он на Галерную улицу и несколько лет жил там, в доме № 41, квартира 4. От ряда посещений — всегда по вечерам — сохранилось у меня общее впечатление тихой и уютной торжественности. Квартира в три-четыре комнаты, обыкновенная средняя петербургская квартира «с окнами во двор». Ничего обстановочного, ничего тяжеловесно-изящного. Кабинет (и в то же время спальня А. А.) лишен обычных аксессуаров обстановки, в которой «живет и работает» видный писатель. Ни массивного письменного стола, ни пышных портьер, ни музейной обстановки. Две-три гравюры по стенам и в шкапах и на полках книги в совершеннейшем порядке. На рабочем столе ничего лишнего. Столовая небольшая, почти тесная, без буфетных роскошеств. Мебель не поражает стильностью. И в атмосфере чистоты, легкости, свободы — он, *Александр Блок,* тот, кто вчера

создал, может быть, непостижимые, таинственные строки и кто сегодня улыбается нежной улыбкой, пристально глядя вам в глаза, в чьих устах ваше примелькавшееся вам имя звучит по новому, уверенно и значительно. Вечер проходит в беседе неторопливой, — какова бы ни была тема — радостно волнующей. Отдельные слова, как бы добываемые, для большей убедительности, откуда то из глубины, порою смутны, но неизменно точны и выразительны.

По собственному почину, или может быть угадывая мое желание, А. А. читает последние свои стихи, и — странно — очень интересуется мнением о них. Выражение сочувствия его радует, а замечаниям редким и робким он противопоставляет по детски искренно, ряд объяснений. Бурные общественно политические события того времени своеобразно преломляются в душе А. А. и находят себе в беседе особое, звуковое, внешне искаженное выражение. Чувствуются настороженность и замкнутость художника, оберегающего свой мир от вторжения враждебных его целям стихий. С наивным изумлением узнает А. А., что я не только пишу стихи, но и временами вплотную подхожу к общественной жизни и пытаюсь принять в ней участие. Об обстоятельствах обыденных расспрашивает он меня с опасливым любопытством человека из другого мира. О себе говорит мало. Ни самодовольства, ни самоуверенности в человеке, чье имя уже звучит как слава, чья личность окружена постепенно наростающим культом.

Переходим в столовую и пьем чай. Молчаливо присутствует Любовь Дмитриевна, жена А. А. Большой любитель чаяпития, А. А. совершает этот обряд истово и неторопливо. Курит, с глубоким вздохом затягиваясь. В изгибе крупных пальцев, крепко сжимающих папиросу, затаенная, сдержанная страсть.

Прощаюсь — и заранее знаю, что в последний миг встречу глубокий, чистый и пристальный взор, как бы договаривающий недоговоренное.

Тогда, в 1906 году, я начал встречаться с Блоком и у общих наших знакомых — на вечерах у гостеприимного А. А. Кондратьева [1]), патетического Пяста, «на средах» у Вячеслава Иванова. А. А., покончивший только что с государственными экзаменами, вновь стал доступен дружеской среде. Помню его здоровым, крепким, светло-улыбающимся — как входит он, с тревожной надеждой ожидаемый многими, держа руку с отставленным слегка локтем в кармане пиджака, с поднятою высоко головою. В кругу тех, кого он называл друзьями, был он признан и почтительно вознесен; но ни с кем непереходя на короткую ногу, не впадая в сколько-нибудь фамильярный тон, оставался неизменно скромен и прост и ко всем благожелателен. Деликатный и внимательный, одаренный к тому же поразительной памятью, никогда не забывал он, однажды узнав, имени и отчества, даже случайно знакомых, выгодно отличаясь этим от рассеянных маэстро, имя которым легион. Молчаливый вобщем, ни на секунду не уходил в об-

---

[1]) А. А. Кондратьев — поэт и беллетрист; автор книги: «Гр. А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества». Спб. 1912.

ществе в себя и не впадал в задумчивость. Принимая, наряду с другими, участие в беседе, избегал споров; в каждый момент готов был разделить общее веселье. На вечере у Пяста, слушал, сочувственно улыбаясь, пародии Потемкина на себя, на А. Белого на Вячеслава Иванова; принял потом, как и все, участие в неизменных буримэ и, чуждый притязаний на остроумие писал на бумажке незамысловатые слова. Так, сидя рядом со мной и получив от меня начало:

«Близятся выборы в Думу,
Граждане, к урнам спешите»,

продолжил он приблизительно в таком роде:

«Держите, ловите свирепую пуму,
Ловите, ловите, держите».

Еще не так давно, в минувшем 1920 году, придя на Собрание Союза Поэтов, уставший и измученный, играл он, вместе со многими, ему далекими и чуждыми, в ту же игру — и не стяжал, конечно, приза.

...1907-й год начался для Блока «Снежною маскою». В тридцати стихотворениях этого цикла, написанных по словам А. А., в две недели, отразилась напряженность налетевших на поэта вихрей. «Простите меня за то, что я все еще не писал Вам, несмотря на то, что мне хочется и видеть Вас и говорить с Вами. Все это оттого, что я в очень тревожном состоянии и давно уже», пишет Блок мне 11 февраля 1907 года. Таким тревожным и вспоминаю я Блока в этот период, и следы этой тревоги проходят через ряд лет.

...Драмою «Фаина» (Песня судьбы) закончился период бурь. В ней, в ее последних строках, в Песне путника — весть о России, возврат к надежде. Эту драму читал он, собрав многочисленное общество, у себя на дому, 1-го мая 1908 года («Если не боитесь длинного чтения, приходите пожалуйста...» — черта обычной скромности в пригласительном письме от 28 апреля). В чтении «Фаины», в словах этой драмы, мучительной, слишком личной, литературно-неудавшейся, чувствовалась и болезненно воспринималась ужасающая усталость; по окончании чтения, А. А., сохраняя, как всегда, пристальное внимание к словам присутствующих, не примкнул, однако, к завязавшейся беседе и слушал молча. Мелочь: будучи в некоторой мере специалистом, я «в обуви ошибку указал» — отметил, что локомотивы, фигурирующие в выставочном зале, не могут быть «с большими маховыми колесами», как прочитал автор; А. А. пытался отстоять свое понимание, но затем, признав мое превосходство, тут же заменил маховые колеса ведущими.

Личные обстоятельства надолго, затем, отвлекли меня от литературной жизни, и с 1909 г. по 1913 г. встречи мои с Блоком были редкими и случайными. С неослабевающим интересом встречая каждое его новое слово, издали следя за его жизнью, храня к нему благоговейную любовь, я уклонялся в то время в силу тягостного своего душевного состояния, от непосредственной близости с А. А. и с мучитель-

ным чувством отклонял при встречах его дружеские приглашения. Помню его за эти годы в различных обликах. Ранней весною 1909 г. встретился он мне на Невском проспекте с потемневшим взором, с неуловимою судорогою в чертах прекрасного гордого лица, и в коротком разговоре сообщил о рождении и смерти сына; чуть заметная пена появлялась и исчезала в уголках губ. На первом представлении «Пелеаса и Мелисанды»[1]) — сидел он в партере рядом с женою, являя и осанкою, и выражением лица, и изяществом костюма вид величия и красоты; в цирке Чинизелли, в зимнем пальто и каракулевой шапке, наклонялся к барьеру, внимательно всматриваясь в движения борцов; и — припоминаю смутно — видел я его в угарный ночной час, в обстановке перворазрядного ресторана, в обществе приятеля-поэта, перед бутылкою шампанского; подносил ему розы и чувствовал на себе его нежную улыбку, его внимательный взор... Так продолжалось до 1914 года, когда тяжелая нервная болезнь разлучила меня с Петербургом — и с Блоком.

В санатории под Москвой, в июле 1914 года, получил я, в ответ на письмо и на стихи, посланные Блоку, письмо из с. Шахматова, ценное для меня по силе дружеского сочувствия и показательное в отношении душевного склада автора. Привожу это письмо в части, представляющей общий интерес:

«Письмо Ваше почти месяц лежит передо мной; оно так необычно, что я не хочу даже извиняться перед Вами в том, что медлил с ответом. И сейчас не нахожу настоящих слов. Конечно, не удивляюсь, как Вы пишете, что Вы лечитесь. Во многие лечения, особенно — природные, как: солнце, электричество, покой, морские воды, я очень верю; знаю, что если *захотеть*, эти силы примут в нас участие. Могущество нервных болезней состоит в том, что они прежде всего действуют на волю и заставляют перестать *хотеть* излечиться; я бывал на этой границе, но пока что, выходила как раз в ту минуту, когда руки опускались, какая-то счастливая карта; надо полагать, что я втайне даже от себя страстно ждал этой счастливой карты...

Часто я думаю: того, чем проникнуто Ваше письмо и стихи, теперь в мире нет. Даже на языке той эры говорить невозможно. Откуда же эта тайная страсть к жизни? Я Вам не хвастаюсь, что она во мне сильна; но и не лгу, потому что только недавно испытал ее действие. Знаем мы *то*, узнать надо и это: жить «по человечески»; после *«ученических годов» — годы странствий»*...

---

6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Н. ТОЛСТОГО [2]).

В январе 1917 года морозным утром я, прикомандированный Земгором [3]) к генералу М., объезжавшего с ревизией места работ

---

[1]) Драма Мэтерлинка; была поставлена в театре Комисаржевской.

[2]) Алексей Николаевич Толстой — беллетрист. (Род. 1882 г.); в литературе выступил в 1908 г. сборником стихотворений. Воспоминания взяты из его статьи «Падший ангел», напеч. в парижской газете «Последние Новости», 1921 г. № 413.

[3]) Земгор — Союз земств и городов, общественная организация, возникшая во время Германской войны.

западного фронта Земского Союза, вылез из вагона на маленькой станции в лесах и снегах и пошел к городку фанерных бараков, где было управление дружины. Мне было поручено взять сведения о каких-то башкирах, которые работали в дружинах.

Меня провели в светлый, жарко натопленный фанерный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут вошел заведующий, худой, рослый, красивый человек, с румяным от мороза лицом, с заиндевевшими ресницами. Все что угодно, но я никак не мог ожидать, что этот заведующий — Александр Блок.

Он весело поздоровался и сейчас же открыл конторские книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы с Блоком пошли гулять. Он рассказывал мне о том, как здесь славно жить, как он из десятников дослужился до заведующего работами, сколько времени он проводит верхом; говорили о войне, о прекрасной зиме. Когда я спросил, пишет ли он что-нибудь сейчас, он ответил равнодушно: «Нет, ничего, не делаю».

В сумерки мы пошли ужинать в старый, мрачный помещичий дом, где квартировал Блок. В длинном корридоре мы встретили хозяйку, увядшую женщину; она посмотрела на Блока мрачным глубоким взором и гордо кивнула, проходя.

Зажигая у себя лампу, Блок мне сказал:

— По моему в этом доме будет преступление...

Это была моя последняя встреча с Блоком. Летом он вернулся в Петербург.

---

7. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ К. И. ЧУКОВСКОГО [1]).

...Он был весь переполнен музыкой, которая так и лилась из него через край. Он был из тех баловней музыки, для которых творить — значило вслушиваться, которые не знают ни натуги, ни напряжения в творчестве. Не поразительно ли, что всю поэму «Двенадцать» он написал в два дня? Он начал писать ее с середины, со слов:

Уж я ножичком
Полосну, полосну!

потому что, как рассказывал он, эти два *ж* в первой строчке показались ему весьма выразительными. Потом перешел к началу и в один день написал почти все: восемь песен, до того места, где сказано:

Упокой Господи душу рабы твоея.
Скучно.

Почти всю поэму в один день! Необыкновенная энергия творчества! За полгода до смерти он показывал мне ее черновик, и я с удивлением смотрел на опрятные, изящные, небольшие листочки, где в такое короткое время так легко и свободно карандашиком, почти без помарок,

---

[1]) К. И. Чуковский — литературный критик. Его воспоминания «Последние годы Блока» напеч. в «Записках Мечтателей». 1922, № 6.

он начертал эту великую поэму. Никакой натуги, никаких лишних затрат вдохновения. Творить ему было также легко, как дышать. Написать в один день два, три, четыре, пять стихотворений подряд— было для него делом обычным. За десять лет до того января, когда он написал свои «Двенадцать», выдался другой такой январь, когда в пять дней он создал *двадцать шесть* стихотворений, почти всю свою «Снежную Маску». 3-го января 1907 года он написал шесть стихотворений, 4-го — четыре, 8-го — четыре, 9-го — шесть, 13-го — шесть...

...Написав «Двенадцать», он все эти три с половиною года старался уяснить себе, что же у него написалось.

Многие помнять, как пытливо он вслушивался в то, что говорили о «Двенадцати» кругом, словно ждал, что найдется такой человек, который, наконец, объяснит ему значение этой поэмы, несовсем понятной ему самому.

Словно он не был виноват в своем творчестве. Словно поэму написал не он, а кто-то другой. Словно он только записал ее под чужую диктовку.

Однажды Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой: — «Это самая злая сатира на все, что происходило в те дни». — Сатира?— спросил Блок и задумался. Неужели сатира? Едва ли. Я думаю, что нет. Я не знаю.

Он и в самом деле не знал. Его лирика была мудрей его. Простодушные люди часто обращались к нему за объяснениями, что он хотел сказать в своих «Двенадцати», и он, при всем желании, не мог им ответить. Он всегда говорил о своих стихах так, словно в них сказалась чья-то посторонняя воля, которой он не мог не подчиниться, словно это были не просто стихи, но откровение свыше [1]).

Помню, как-то в июне, два года тому назад, Гумилев в присутствии Блока читал в Зубовском Институте лекцию о его поэзии и между прочим сказал, что конец поэмы «Двенадцать» (то место, где является Христос), кажется ему искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто-литературный эффект.

Блок слушал, как всегда, не меняя лица, по окончании лекции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь:

— Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился, почему же Христос? Неужели Христос? Но чем ближе я вглядывался, тем явственнее я видел Христа.

Гумилев смотрел на него со своей обычной надменностью: сам он был хозяином и даже командиром своих вдохновений и не любил, когда поэты ощущали себя безвольными жертвами собственной лирики. Но мне признание Блока казалось бесценным: поэт до такой степени

---

[1]). Часто он находил в них пророчества. Перелистывая со мною третью книг своих стихов, он указал на стихи: «Как тяжко мертвецу среди людей» и сказал: «Оказывается это я писал о себе. Когда я писал это, я и не думал, что это пророчество». То же говорил он и про книгу «Седое Утро»: — «Я писал ее давно, но только теперь понимаю ее. Она вся о теперешнем». (К. Ч.).

был не властен в своем даровании, что сам удивлялся тому, что у него написалось, боролся с тем, что у него написалось, но чувствовал, что написанное им есть высшая правда, не зависящая от его желаний, и уважал эту правду больше, чем свои личные вкусы и верования[1]).

Эта правда была для него вне литературы, и он именно зато не любил литературу, что видел в ней умаление этой правды. Он не любил в себе литератора и считал это слово ругательным. Только в минуты крайнего недовольства собою назвал он себя этим именем:

Был он только литератор модный
Только слов кощунственных творец —

осудительно сказал он о ком-то. Я спросил у него: о ком? Он ответил о себе. Была такая полоса его жизни, когда он чуть было не стал литератором. Он всегда ощущал ее, как падение.

Он не из книг, а на опыте всего своего творчества знал, что поэзия не только словесность и то обстоятельство, что нынешним молодым поколением оно ощущается именно так, казалось ему зловещим знамением нашей эпохи. Нынешние подходы к поэзии с чисто формальным анализом поэтической техники казались ему смертью поэзии. Он«ненавидел появившиеся именно теперь всякие студии для формального изучения поэзии, потому что и в них ему чудилось то самое веяние смерти, которое он чувствовал вокруг [2]).

...Как-то зимою мы шли с ним по рельсам трамвая и говорили, помню, о «Двенадцати».

Он говорил мне, что строчка:

Шоколад Миньон жрала

принадлежит не ему, а его жене, Любови Дмитриевне:

— У меня было гораздо хуже:

Юбкой улицу мела,

---

[1]) Я тогда же записал его слова о «Двенадцати» и ручаюсь за их буквальную точность. В последнее время писали, будто Блок отрекся от «Двенадцати». Это ложь. Он всегда любил эту поэму, любил слушать, как его жена, артистка Басаргина, декламирует ее с эстрады. Я спросил его, почему он сам никогда не читает ее вслух. Он сказал: «не умею, а очень хотел бы». (К. Ч.).

[2]) Об отношении Блока к формальной стороне поэзии свидетельствует, между прочим, его ответ на анкету о стихах Некрасова, произведенную К. И. Чуковским среди писателей. Приводим эту анкету и ответы Блока полностью.

1) Любите ли вы стих. Некрасова? — Да. 2) Какие стих. Некрасова вы считаете лучшим — «Еду ли ночью по улице темной», «Умолкни, муза», «Рыцарь на час» и многие другие. «Внимая ужасам». 3) *Как вы относитесь к стихотворной технике Некрасова? — Не занимался ею. Люблю.* 4) Не было ли в вашей жизни периода, когда его поэзия была для вас дороже поэзии Пушкина и Лермонтова? — Нет. 5) Как вы относились к Некрасову в детстве? — Очень большую роль он играл. 6) Как вы относились к Некрасову в юности? — Безразличнее, чем в детстве и в «старости». 7) Не оказал ли Некрасов влияния на ваше творчество? — Оказал большое. 8) Как вы относительс к известному утверждению Тургенева, будто в стихах Некрасова «поэзия и не ночевала»? — Тургенев относился к стихам, как иногда относились старые тетушки. А сам, однако, сочинил «Утро туманное» («Летопись Дома Литераторов». 1921, № 3).

но жена напомнила мне, что Катька не могла мести улицы юбкой, так как юбки теперь носят короткие, и сама придумала строчку о шоколаде Миньон.

...Что сказать о его последней, предсмертной поездки в Москву? В вагоне, когда мы ехали туда [1]), он был весел, разговорчив, читал свои и чужие стихи, угощал куличем и только иногда вставал с места, расправлял больную ногу и улыбаясь, говорил: болит! (Он думал, что у него подагра).

В Москве болезнь усилилась, ему захотелось домой, но надо было каждый вечер выступать на эстраде. Это угнетало его. Когда из «Дома Печати», где ему сказали, что он уже умер [2]), он ушел в «Итальянскую Студию», часть публики пошла вслед за ним. Была пасха, был май, погода была южная, пахло черемухой, Блок шел в стороне от всех, вспоминая свои «Итальянские стихотворения», которые ему предстояло сейчас прочитать. Никто не решался подойти к нему, чтобы не помешать думать. В этом было что-то волнующее. По озаренным луною переулкам молча идет одинокий печальный поэт, а за ним, на большом расстоянии, с цветами в руках, благоговейные *любящие*, которые словно чувствуют, что это последние проводы. В «Итальянской Студии» Блока встретили с необычайным радушием и он читал свои стихи упоительно, как еще ни разу не читал их в Москве: медленно, певучим, густым, страдающим голосом. На следующий день произошло одно печальное событие, которое и показало мне, что болезнь его тяжела и опасна. Он читал свои стихи в Союзе Писателей, потом мы пошли в ту тесную квартиру, где он жил, сели пить чай, а он ушел в свою комнату и, вернувшись через минуту, сказал:

— Как странно! До чего все у меня перепуталось. Я совсем забыл, что мы были в Союзе Писателей и вот сейчас хотел сесть писать туда письмо, извиниться, что не мог придти.

Это испугало меня. В Союзе Писателей он был не вчера, не третьего дня, а сегодня, десять минут назад. Как же мог он забыть об этом, он, такой точный и памятливый. А на следующий день произошло нечто, еще больше испугавшее меня. Мы сидели с ним вечером за чайным столом и беседовали. Я то-то говорил, не глядя на него, и

---

[1]) К. И. Чуковский выступал в Москве, в тот приезд Блока, с докладами о его поэзии.

[2]) После чтения Блоком стихов на вечере в «Доме Печати» были устроены «прения». Один из выступавших ораторов доказывал, что Блок, как поэт уже умер. Здесь уместно вспомнить, что тогда же выступил поэт Сергей Бобров, высказавшийся против подобных «суждений» о поэте сыгравшем крупную роль в истории русского символизма. См. статью Боброва, указ. в библиогр., а также его рецензию на сборник «Седое Утро» («Печ. и Революция» 1921, № 1), вызвавшую недовольство в литературных кругах ценителей поэзии Блока резкостью своих суждений. Отголоском такого недовольства является замечание В. Княжнина об этой рецензии в его биографии Блока (стр. 108), где она названа злобной. И в статье и в рецензии С. Боброва прежде всего — разность литературных эпох, разность двух поколений; поколение, следующее за символистами органически враждебно символизму, — не только как литературной школе, но и как определенному мироощущению. (См. статью Б. Эйхенбаума «Судьба Блока в сборнике «Об Ал. Блоке» Пб. 1921).

вдруг, нечаянно подняв глаза, чуть не крикнул: передо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно непохожий на Блока. Жесткий, обглоданный с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие. И главное: он был явно отрезан от всех, слеп и глух ко всему человеческому.

— Вы ли это, Александр Александрович! — крикнул я, но он даже не посмотрел на меня.

Я и теперь, как ни напрягаюсь, не могу представить себе, что это был тот самый человек, которого я знал двенадцать лет.

Я взял шляпу и тихо ушел. Это было мое последнее свидание с ним.

---

8. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. И. ЛЕБЕДЕВА-ПОЛЯНСКОГО.

С ним я встречался всего два раза. Это было в Красном Петрограде. Кажется, в январе 1918 г., когда город жил трепетной жизнью, полной всяких тревожных слухов, ползущих то с фронта, то изнутри страны. Разъезды останавливали прохожих; ночные выстрелы, одиночные и частые, сменявшие друг друга, как будто догонявшие бегущих и искавшие прячущихся, не раз нарушали притаившуюся тишину.

...В городе известные группы уверены, что вот, вот, скоро, на этих днях Петроград освободят от власти Смольного и конец большевикам.

Еду в Зимний Дворец. Там заседание комиссии литературно-издательского отдела Наркомпроса, правительственным комиссаром которого я тогда был назначен.

...По узкой лестнице поднимаюсь в небольшую изящную комнату. Уже собрались, хотя и не все. Ал. Бенуа, П. Морозов [2]), несколько художников, кажется Штернберг, Альтман и Пунин, еще кто-то и А. Блок.

Он был не таким, каким я представлял его по портретам, по стихам о Прекрасной Даме. Защитного цвета костюм, русые волосы стушевывали выражение его лица. Он стоял у перил лестницы, с кем-то тихо разговаривал. И на фоне белой блестящей стены казался каким-то неподвижным и тусклым пятном.

Назначенный час заседания уже прошел, но А. Луначарского все еще не было. Ждем и беседуем.

Времена для государственной литературно-издательской работы были тяжелые. Интеллигенция саботажничала и сотрудничать с рабоче-крестьянской властью демонстративно не хотела. Из приглашенных к сотрудничеству в великом культурном деле откликнулись немногие, но и эти были для нас загадочным сфинксом. Сумеем ли сговориться, найдем ли общий язык — вот вопрос, с которым я подходил к каждому.

---

[1]) П. И. Лебедев-Полянский — литературный критик-марксист. Воспоминания: «Встреча с Блоком» за подписью В. Полянский напеч. в журнале «Жизнь» 1922, № 1.

[2]) Ал. Н. Бенуа — художник и писатель по вопросам искусства; П. О. Морозов — историк литературы.

Я внимательно следил за Блоком. Торопясь кончить разговор с А. Бенуа, с этим высоко образованным, культурным европейцем с ног до головы, я не спускал с поэта взгляда. Прожив за границей 10 лет, я не видел представителей новейших литературных течений и рассматривал его, ставя грани между ним и многими его современниками, шумливыми, но менее достойными и великими.

А он стоял недвижный. Прямой, в твердой позе с еле склоненной на бок головой, с рукой за бортом плотно застегнутого костюма. Собеседник что-то возрожал, жестикулируя и берясь за голову, а он стоял невозмутимый, как изваянье, с устремленными глазами, с величавым спокойствием и только было заметно, как двигались его губы.

Затем он резко повернулся и подошел прямо к нам.

— Кажется, товарищ Лебедев-Полянский. Ваше письмо я получил. Дело интересное[1]). Посмотрим, как сговоримся. Все мы люди разные, по разному расценимаем происходящее. Во всяком случае попытаемся что-нибудь сделать. Вы не из Смольного? Есть тревожные новости?

— Да. Есть какие-то неприятности на фронте.

Он опять стоял какой-то вытянутый, аккуратный. Но не такой, как Бенуа. Русский, настоящий русский, с нашей душой, с нашими русскими мыслями. Приятная речь, мягкий выговор, излучающие теплоту задумчивые, несколько блуждающие, глаза, — все располагало к нему. Он был прост, искренен и быть может задушевен. Временами какая-то тень отражалась во всем нем, — задумывался, морщины бороздили открытый лоб, и взор как бы ошаривал пространство. Усталость лежала в складках его губ.

— Пойдем вот... туда, в угол. Сядем.

Ласковость куда-то исчезла. Он становился... не оффициальнее, а строже, суше; фразы приняли литературный склад. Промелькнула раздраженность.

Я насторожился.

— Садитесь. А я здесь, в мягком усядусь.

И из полутемного угла выглянуло усталое лицо, спокойнее стала речь, и ласковость вернулась.

— Как вы смотрите на все происходящее? — спросил его я.

Нехотя, растягивая слова, как бы выдавливая их из себя, он начал:

— Я... я думаю, что будущее будет хорошо. Но хватит ли у вас, у нас, у всего народа сил для такого большого дела?

Я начал было развивать мысль о ходе революции и ее силах.

— Я говорю о моральных, о духовынх силах, — перебил он меня, — культуры нет у нас. Беспомощны мы во многом. От жизни оторваны.

Минут пять говорил на эту тему. Но без увлечения, пожалуй по профессорски...

---

[1]) Издание русских классиков.

Временами он приподнимался в кресле, наклонялся вперед, и свет освещал одну половину его лица. Вперив взор прямо в мои глаза, он порывисто произвес.

— Вас интересует политика, интересы партии; я, мы поэты, ищем душу революции. Она прекрасна. И тут мы все с вами.

Мне очень хотелось выяснить это «мы», но шумно вошел Луначарский...

Разговор прервался. Публика встала, задвигалась. Вскоре сели за длинный стол и заседание открылось.

Вопрос, который вызвал длинные рассуждения, был вопрос о новой орфографии. Соответствующий декрет вошел уже в силу, но его не всегда можно было применять, особенно при перепечатке поэтических произведений. В отдельных случаях это может разрушить рифму и расстроить музыку стиха.

Большинство присутствующих принципиально признало, что в целях педагогических и других надо перепечатывать классиков по новой орфографии, за исключением отдельных случаев, искажающих текст. Блок занял особую позицию в защиту буквы «Ѣ» и даже «Ъ».

— Я понимаю и ценю реформу с педагогической стороны, — говорил он. — Но здесь идет вопрос о поэзии. В ней нельзя менять орфографии. Когда поэт пишет, он живет не только музыкой, но и рисунком. Когда я мыслю «лес», соответствующее слово встает перед моим воображением, написанное через «Ѣ». Я мыслю и чувствую по старой орфографии; возможно, что многие из нас сумеют перестроиться, но мы не должны искажать душу умерших. Пусть будут они неприкосновенны.

Я сидел рядом и задал вопрос:

— Но ведь вы, наверное, пишете без «Ъ».

— Пишу без него, но мыслю всегда с ним. А главное, я говорю не о себе, не о нас живущих, а об умерших, — их души нельзя тревожить!

Так он и остался при своей точке зрения.

Странной и непонятной загадкой показался мне этот взгляд. Ценить реформу и не допускать «лес» печатать у старых классиков через «е». Устремление вперед с «душой революции», и вдруг защита «Ѣ» и «Ъ».

И говорил он об этом много и страстно. Во время заседания и после него он отыскивал новые аргументы в свою пользу.

Собрание кончилось поздно. Часть публики уже разошлась

— На меня собрание произвело весьма благоприятное впечатление, — начал я, — обращаясь к поэту... — Насколько же вы примете участие? Вы будете украшением нашей комиссии и постоянным укором всем, к нам относящимся враждебно.

— Работать буду. Дело увлекательное. Но я чувствую себя несколько разбитым. Устал... И вряд ли сумею оказать существенную поддержку делу. Ну, что же, идем? Кто куда? — произнес он громко, оборачиваясь в сторону оставшихся.

Минут через пять мы шумно остря и смеясь, вышли на набережную и разошлись в разные стороны.

---

9. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. СТОРИЦЫНА[1]).

В 1921 г. автор воспоминаний стоял в очереди за яблоками, которые выдавались членам Петербургского «Дома Литераторов». Блока, тоже сотявшего в очереди, он, никогда не встречавший, принял за иностранца, «шкипера шведского судна» и не хотел верить, что это, действительно, поэт Блок. Их познакомили. Смутившись, Сторицын сказал Блоку, что принял его за моряка. Блок ответил:

— «В детстве и юности я мечтал о том, чтобы быть юнгой на пароходе. Тем, что вы мне сказали, вы меня тронули. Я рад, что похож не на писателя и не на поэта, а на моряка[2]). Не смущайтесь и не волнуйтесь. Вы мне доставили радость. Как часто то, что принято считать бестактностью, мы напряженно ищем и ждем».

10. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ А. А. БЛОКА[3]).

В средине апреля (1921 г.) начались первые симптомы болезни. Ал. Ал. чувствовал общую слабость и сильную боль в руках и ногах, но не лечился. Настроение его в это время было ужасное, и всякое неприятное впечатление усиливало боль. Когда его мать и жена начинали при нем какой нибудь спор, он испытывал усиление физических страданий и просил их замолчать. В этом удрученном состоянии он поехал в Москву; поездка подробно описана в воспоминаниях Чуковского. Перед его отъездом было решено, что Ал. Андревна (мать) поедет отдохнуть ко мне в Лугу, куда я звала ее на все лето. Ал. Ал. уехал 1 мая, с трудом сошел вниз, опираясь на палку, с трудом сел на извозчика. В Москве надеялся он освежиться и набраться сил, но не тут то было. Выступление на шести вечерах, повидимому окончательно подорвало его сердце. Настроение его в Москве резко разнилось от прошлогоднего. Многие слышали от него, что он готовится к смерти. Несмотря на все триумфы, на самый сердечный прием, оказанный ему москвичами... Ал. Ал. был все время не весел и оживление к нему не вернулось. Между прочим, он советовался в Москве с доктором, который не нашел у него ничего кроме истощения, малокровия и глубокой неврастении. Но доктор этот ошибся... После своих выступлений Ал. Ал. почувствовал себя настолько утомленным, что вернулся в Петербург немного раньше, чем предполагал, предупредив телеграммой жену о дне и часе приезда. Ал. Андр. уехала в Лугу 4 мая, уже в его отсутствие. Любовь Дмитриевна встретила мужа на вокзале, привезла домой в экипаже, предоставленном ему Е. Я. Белицким, и рассказала ему, как хорошо удалось обставить отъезд Ал. Андр. при содействии того же Белицкого, который занимал в то время видный пост. Ал. Ал. был рад видеть жену и вернулся

---

[1]) «Моя встреча с Блоком». Напеч. в газете «Жизнь Искусства». 1921, № 804.

[2]) См. воспоминания К. Чуковского, где говорится, что Блок «не любил в себе литератора и считал это слово ругательным».

[3]) Из книги М. А. Бекетовой «Ал. Блок», Пб. 1922.

домой довольно веселый, но вскоре впал в обычное для него в то время мрачное настроение. Люб. Дм. нарочно выбрала свободный вечер и выманила его на улицу в хорошую погоду, она вела его по одному из его излюбленных путей направо по набережной Пряжки, потом через мостики и дальше до самой Невы. Но во время этой прогулки вдвоем, которая прежде доставила бы ему так много удовольствия, он даже ни разу не улыбнулся.

Вскоре после приезда из Москвы у Ал. Ал. был первый припадок сердечной болезни, начавшийся с повышения температуры. Позванный по этому случаю доктор Пекелис, ныне уже покойный, — тоже не сразу определил у Ал. Ал. болезнь сердца, повторив диагноз московского доктора, он нашел у него сильнейшее нервное расстройство, которое определил, как психостению, т.-е. психическое расстройство, еще не дошедшее до степени клинической болезни. Доктор этот был человек очень знающий, умный и в высшей степени культурный и просвещенный. Он не долго блуждал впотьмах. При первых припадках удушья и боли в груди, он выслушал сердце Ал. Ал. и в конце концов вполне правильно поставил диагноз болезни, подтвержденный позднее известным профессором Троицким, ныне тоже покойным. По определению Пекелиса у Ал. Ал. было воспаление обоих сердечных клапанов, кроме возрастающей психостении. Прошло около трех недель с первого припадка прежде, чем Пекелис окончательно убедился в том, что у Ал. Ал. настоящая сердечная болезнь, а не неврозы, которые часто бывают обманчивы.

Болезнь начала быстро развиваться. Доктор Пекелис, который навещал Ал. Ал. ежедневно, предписал ему полный покой и велел лечь в постель и никого не принимать, чтобы неутомлять его сердце разговорами и впечатлениями. Но лежание в постели так ужасно действовало больному на нервы, что вместо пользы приносило вред. Через две недели доктор разрешил ему вставать, и он уже больше не ложился: бродил по комнатам, сидел в кресле или в постели. Вначале болезни к нему еще кой-кого пускали. У него побывали Е. П. Иванов, Л. А. Дельмас[1]), но эти посещения так утомили больного, что решено было никого больше не принимать, да и сам он никого не хотел видеть. Один С. М. Алянский[2]) имел счастливое свойство действовать на Ал. Ал. успокоительно и потому доктор позволил ему иногда навещать больного. Остальные друзья лишь справлялись о здоровье Ал. Ал.

Последняя болезнь его длилась почти три месяца. Она выражалась главным образом в одышке и болях в области сердца при повышенной температуре. Больной был очень слаб, голос его изменился, он стал быстро худеть, взгляд его потускнел, дыхание было порывисто, при малейшем волнении он начинал задыхаться.

Доктор Пекелис пустил в ход весь арсенал противосердечных средств. Давалось все, что существует по этой части. Достать лекарства было нелегко, но тут на помощь пришли друзья, которые напе-

---

[1]) Л. А. Дельмас — оперная артистка. См. примеч. к заметке Блока о «Двенадцати».

[2]) С. М. Алянский — издатель («Алконост»).

рерыв предлагали свои услуги больному. Друзей этих оказалось великое множество. Между прочим, выказали самое теплое участие все служащие Б. Др. театра, особенно Гришин, Лаврентьев и Бережной. Со всех сторон предлагали денег, доставляли лекарства, посылали шоколад и др. сласти. Люб. Дмитр. отказывалась от денег, так как их было достаточно, но приношения и услуги всегда принимала с благодарностью.

Далее подробно рассказывается о разнообразных кушаньях, которые готовились Ал. Ал.; подробности эти приведены с целью «разрушить ту басню, которую сложили о голодающем Блоке, кормимом из милости каким-то иностранцем, досужие эмигранты».

Энергичное лечение Пекелиса принесло некоторый результат. Ал. Ал. стало значительно лучше, так что он ободрился и говорил окружающим, что доктор склеил ему сердце.

В периоды улучшения Ал. Ал. развлекался работой. Так как Пекелис с самого начала настаивал на санатории в Финляндии, потому что условия русских санаторий были в то время неудовлетворительны, — Ал. Ал. стал готовиться к отъезду заграницу. Он расчитывал, что, поехав в санаторию в сопровождении жены, он пробудет там месяца два, поправится и вернется домой, а Люб. Дм. уедет в Россию еще раньше его, как только лечение пойдет на лад, и приищет более просторную и удобную квартиру, с ванной, на которую и переедет до его возвращения. В виду этого, он стал разбирать свой архив, как делал не раз и прежде, то перед новым годом, то осенью или весной Он любил такую сортировку своих бумаг и основательную уборку с уничтожением ненужного материала. Теперь он отобрал при помощи Люб. Дм. все, что находил лишним, сделал тщательную запись того, что осталось и что подлежало уничтожению. Он сжег ненужные рукописи и письма, привел в порядок все остальное и закончил перечень своих работ, начатый несколько лет тому назад... Последняя запись его в этой книге гласит: «Окончен карточный каталог *Моих русских* книг». Сбоку приписка: «Запис. 25 мая». Во второй половине мая, после облегчения, последовавшего за первым припадком сердечной болезни и позднее, во все периоды улучшения, Ал. Ал. занимался писанием тех отрывков в стихах и прозе, которые напечатаны в новом издании его поэмы «Возмездие».

После временного облегчения, наступившего в июне, болезнь опять наложила на Ал. Ал. свою жестокую руку и все началось сначала. 17 июня был созван консилиум из трех врачей: Пекелиса, проф. Троицкого и специалиста по нервным болезням Гизе. Последний ничего не понял в болезни Ал. Ал., но Троицкий вполне согласился с Пекелисом в постановке общего диагноза, он нашел положение крайне серьезным и тогда же сказал Пекелису: «Мы потеряли Блока». Мнение это Пекелис до времени скрыл от близких больного. Лечение Пекелиса Троицкий нашел вполне правильным, и оно продолжалось попрежнему. Решено было увезти больного в санаторию заграницу. Начались хлопоты о разрешении ехать в Финляндию, которые взял на себя Горький. Не скоро, очень нескоро получено было разрешение. Когда оно пришло Ал. Ал. был уже настолько слаб, что немыслимо

было трогать его с места. Но в сердечных болезнях всегда бывают неожиданности: внезапно могло наступить улучшение, которым бы можно было воспользоваться, чтобы перевезти больного, но так как одному ему ехать было нельзя, стали хлопотать о разрешении для Люб. Дм. Но — оно пришло уже после смерти поэта.

Во все время болезни Ал. Ал., за ним ухаживала только жена. Узнав о болезни сына, мать, разумеется, захотела сократить свой отдых в Луге и вернуться в Петербург. Но Люб. Дм. и доктор Пекелис уговаривали ее в письмах повременить с приездом, боясь, что свидание с нею вызовет волнение и ухудшит положение больного.

Ал. Андр. вообще имеет свойство распространять вокруг себя тревожную атмосферу, а ее нервная болезнь, которая с годами не ослабевала, а все усиливалась, могла еще более опасно повлиять на такого больного, как Ал. Ал. По словам доктора Пекелиса, который не раз говорил с Ал. Андр., давая ей советы по случаю ее сердечных припадков, ее нервная болезнь такого же типа, как болезнь Ал. Ал.; он был поражен сходством того, что говорили ему сын и мать во время его докторских посещений.

Люб. Дм. удерживала Ал. Андр. в Луге до последних дней жизни Ал. Ал. Мать подчинялась этому требованию из страха нарушить покой больного сына. Но всякий поймет, чего ей это стоило. Только раз рискнула она приехать в Петербург. Это было в июне и еще до созыва консилиума. Уже тогда мать была поражена страшной переменой, происшедшей в сыне. Она уехала с тяжелым сердцем, умоляя извещать ее как можно чаще о ходе болезни сына.

Ал. Ал. написал ей всего четыре письма со времени своего возвращения в Петербург. В первом от 12 мая он описывает свое пребывани в Москве и упоминает о том, что выгодно продал драму «Роза и Крест» театру Незлобина, который собирался поставить ее в сентябре[1]), причем переговоры шли через Станиславского. Пишет он также про свое здоровье и про то, что сказал ему московский доктор: ...«Дело вовсе не в одной подагре, а в том, что у меня, как результат однообразной пищи, сильное истощение и малокровие, глубокая неврастения, на ногах цынготные опухоли и расширение вен... Никаких органических повреждений нет, а все состояние — и слабость, и испарина, и плохой сон и пр. — от истощения. Я буду здесь стараться лечиться. В Москве было очень трудно, все время болели ноги и руки — рука до сих пор болит, так что трудно писать. Читал я, как во сне, почти все время ездил на автомобилях и извозчиках... Сейчас ноги почти не болят, мешает главным образом боль в руке, слабость и подавленность».

Второе письмо написано карандашом в постели после первого приступа болезни, третье — тоже написано карандашом во время второго, самого сильного припадка, когда он начинал проходить (28 мая). Последнее от 4 июня написано пером, но сильно измененным почерком: «Делать я ничего не могу, потому что температура редко нормальная, все болит, трудно дышать и т. д.».

---

[1]) Постановка не состоялась, и даже гонорар не выплачен полностью. (Примеч. М. Б.).

После этого, он совсем перестал писать. Ал. Андр. извещали о ходе болезни доктор Пекелис, Е. Ф. Книпович[1]) и Люб. Дм.

Последние недели жизни поэт испытывал страшные мучения от удушья, томления, от боли во всем теле. Он совсем не мог лежать, и сидячая поза страшно его утомляла. Дни он проводил часто в полудремоте, сидя на постели в подушках, ночью иногда просыпался несколько бодрее. Люб. Дм. пользовалась этими моментами, чтобы приготовить ему какое нибудь скороспелое блюдо и давала ему поесть

За месяц до смерти разсудок больного начал омрачаться. Это выражалось в крайней раздражительности, удрученно апатичном состоянии и неполном сознании действительности. Бывали моменты про светления, после которых опять наступало прежнее. Доктор Пекелис приписывал эти явления между прочим отеку мозга, связанному с болезнью сердца. Психостения усилилась и, наконец, приняла резкие формы. Последние две недели были самые острые. Лекарства уже не помогали, они только притупляли боль и облегчали одышку. Процесс воспаления шел безостановочно и быстро. Слабость достигла крайних пределов.

Но ни доктор, ни Люб. Дм. все еще не теряли надежды на выздоровленье. За четыре дня до смерти сына, мать, вызванная доктором, наконец приехала в Петербург. Ал. Ал. жестоко страдал до последней минуты. Скончался он в 10 часов утра в воскресенье 7 августа 1921 г.— в присутствии матери и жены. Перед смертью почти нтчего не говорил. В то время, когда его бездыханное тело опустилось на подушки, раздались торжественные и отчетливые звуки благовеста, призывавшего к обедне.

...Весть о кончине поэта разнеслась по Петербургу, и квартира покойного стала наполняться народом. Приходили не только друзья и знакомые, — но совершенно посторонние люди. Между прочим, певец Ершов, живший в одном доме с Блоками, и другие соседи их по квартире, Мариетта Шагинян одна из первых принесла цветы, которые положила к телу покойного. Пришел Бенуа, Лурье[2]) — многие из тех, кто встречался с Ал. Ал. только вне его дома. Многие плакали навзрыд...

Вскоре тело поэта было засыпано цветами. Погода была жаркая, все окна открыты. Большой Драматический Театр взял на себя украшение казенного гроба, присланного покойному: его обили глозетом и кисеей. В числе тех, кто опускал тело в гроб, был артист Монахов, которому еще так недавно произносил свое приветствие усопший— поэт. Пришли литераторы, пришла, разумеется, и Вольфила[3]) с Ивановым-Разумником во главе. Все были глубоко потрясены этой ранней трагической смертью. Между прочим, привез роскошную корзину гортензий Ионов[4]).

...Похороны состоялись 10 августа. Гроб, утопавший в цветах, всю дорогу до Смоленского кладбища несли на руках литераторы.

---

[1]) Е. Ф. Книпович — близкая знакомая семьи Блоков с 1918 г.
[2]) Лурье—композитор.
[3]) Вольная философская Ассоциация
[4]) Заведующий Петроградским отделом Государств. Издательства.

В числе их был и брат по духу поэта — Андрей Белый. В первую минуту забыли положить на гроб крышку; когда процессия уже двинулась и кто то крикнул, что надо закрыть гроб крышкой, все отвечали: «Не надо». И так и несли тело усопшего в открытом гробе до самого кладбища. В великолепный солнечный день двигалась несметная процессия, запрудившая всю Офицерскую до ул. Глинки. Гроб несли ровно и дружно, и на виду у всех было тело поэта, украшенное живыми цветами.

Его провожал все тот же священник, служивший на всех панихидах. Он же и отпевал его в церкви Воскресения, стоящей при въезде на Смоленское кладбище. День похорон, как и день смерти поэта, оказался праздничным. Это был праздник Смоленской Божьей Матери. В церкви пели обедню Рахманинова, исполнял ее хор Филармонии, тот же хор пел и на панихидах. Похороны были прекрасные во всех отношениях: торжественные, красивые и благоговейные. По пути на Смоленское мешали только фотографы, бесцеремонно распоряжавшиеся толпой и отдававшие какие-то наглые приказания. Никто не произносил речей на могиле поэта. Его похоронили рядом с могилой его тетки Е. А. Красновой, против могилы бабушки Бекетовой, поставили простой, некрашенный крест и украсили могилу цветами и венками. И долго еще, до самых морозов не переводились на этой могиле свежие цветы. Кто то прибил к кресту образок, близкие находили на ней чьи то стихи, обращенные к поэту.

ИЗ ПИСЕМ А. А. БЛОКА.

1. АНДРЕЮ БЕЛОМУ[1]).

Петербург, 3 января 1903 г.

Многоуважаемый Борис Николаевич,

Только что я прочел Вашу статью «Формы искусства» и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья... откровенна. Это «песня системы», которой я давно жду... Но меня глубоко тревожит одно в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде должен оговориться: я до отчаяния ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорит о музыке, как об искусстве ни с какой стороны. Таким образом я осужден на то, чтобы вечно-поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего-бы то ни было преувеличенного из музыки искусств. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, т.-е. просто безумия, сумасшествия (и то гадательно). Ко всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо не с точки зрения музыки искусств, а с точки интуитивной, от голоса музыки, поющей внутри и оттуда, откуда мне слышны окружающие меня «слова о музыке», более или менее доступные.

С этой оговоркой и пишу: есть ли Ваша статья только «формы искусств»? Конечно — нет. «Не имеем ли мы здесь немного превращения жизни в мистерию?» Следующая фраза еще настойчивее, как настой-

---

[1]) Это первое письмо Блока в его большой переписке с А. Белым, пока не опубликованной. Оно приведено Белым в его воспоминаниях о Блоке («Зап. Мечт.» 1922 г. № 6). Еще не будучи лично знаком с Блоком, Белый, под впечатлением Блоковских стихов и писем обсуждавшихся среди поклонников его поэзии, написал Блоку длинное письмо «В письме, говорит А. Белый, я высказывал свое отношение к линии его поэзии. Письмо было написано в несколько «застегнутом», как говорят, виде. Предполагалось, что в будущем мы договоримся до интимнейших тем... Каково же было мое изумление: на следующий день по отправке письма я получаю толстый и характерный синий конверт с адресом, написанном рукою А. А. (его руку я уже знал). А. А. в день написания мною письма почувствовал такое же желание, как и я, обратиться впервые ко мне. Мне этот факт совпадения наших желаний начать переписку показался весьма знаменательным...

Внешний повод для письма А. А. ко мне — появление моей статьи в «Мире Искусства». Статья эта озаглавлена: «Формы искусства». Она носила академиче ский характер, являлась резюме двух рефератов, прочитанных мною... Основная мысль статьи: формы искусств строятся по временной градации от косности пространственных форм к бесконечному динамизму музыкального мира. Эволюция мира искусств — от зодчества к симфонической музыке. Во временном ряде музыка слагается исторически позднее, а в формальном ряде, она — совершеннейшее искусство. Упраздняя материал искусств, она генерал-бас всех искусств и первое зерно искусство будущего, которое в творчестве человеческих отношений, в мистерии жизни».

чивы Вы всегда, как настойчивы и неотвязны Ваши духовные стихи и симфонии и в статье об Олениной[1]). И, остановившись на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик от того, что Вы (дай Бог, чтобы это было не так) заполонили всю жизнь «миром искусств».

«Глубина музыки *при отсутствии* в ней внешней действенности наводит на мысль о номинальном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну бытия».

Ведь Вы хотите служить музыке будущего! Ведь тут вопрос последней важности, который Вы *обошли* в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо, во избежание соблазна. Здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалиптическая труба «неискусна» (ваша 344 стр.). Вы последнего слова не сказали и оттого последняя страница — ужас и сомнение. Ведь это окраина, вьющаяся тропинка, на которой Вы исчезаете за поворотами и последние слова слышны как-то уже издалека, под сурдинку, в сеточке, а Вас мы уже не видим. Ваше лицо уже спряталось, тогда именно, когда пришлось говорить о том, последнее ли музыка или не последнее. А главное— какая это музыка там, в конце, под фирмой ли она искусства? Ведь это в руку эстетизма, метафизикам, «Новому Пути», «Миру Искусства».

Вы гениально достигли полпути и вдруг свернули, улыбнувшись Мережковскому с его символом — соединением (σ и μ Βάλλω)— подумаешь, что все дело в предлоге и глаголе. Мертвая филология: «грех, проклятие, смерть, индийский Дионис с его «символическим» аттрибутом, скалящий зубы без смеха в глазах, без созидающего хохота, с разлагающим хохотом arlekino Erl-Konig. Разве у Вагнера нет ужаса «святой плоти». Разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда и голос птички «запевающей» Зигфриду, «манящей», инфернальной, — о да, инфернальной. «Она влияет» — тут ведь каламбур, перевод на французский язык слова инфлуенца — (influence) простите за каламбур.

Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потому что Вам необходимо сменить Петербург, в котором «для красы» останется один Медный Всадник на болоте, на белокаменную Москву.

В прошлом году я читал Ваше письмо к З. Н. Гиппиус, подписанное «студент-естественник». Теперь оно, кажется, в «Новом Пути», но я не видел журнала[2]). В этом письме все белое, целый свод апокалиптической белизны. В «Формах искусства» Вы замолчали ее. Вам неизменно приходится ссылаться на Платона, на Ницше, на Вагнера, на «бессознательного», конечно, Верлэна. Но ведь «музыкальная сфера» — мифологическая глубина, ведь это пифагорийское общество, в котором все считали друг друга равными блаженным богам... Ведь Пифагора, как Орфея, растерзали вакханки (символически). Ваши же

---

[1]) М. А. Оленина д'Альгейм — камерная певица, известна высоко-художественным исполнением русских песен.

[2]) «Новый Путь» 1903 г. № 1. «Письмо студента-естественника». (По поводу книги Д. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский»).

цитаты, единственного неязыческого титана гласят: «бывшие мгновения поступью беззвучной»...

Разве это о том? Ведь это вот что: «страсти волну с ее пеной кипучей тщетно желаньем, дитя, не лови, вверх погляди на недвижно могучий, с небом сходящийся берег любви». Весь вопрос теперь в том, где последняя музыка, лучше сказать то, что перестает быть музыкой-искусством как только мы «вернемся к религиозному пониманию действительности», — и действительно ли Вы считаете номинальной только такую музыку (уже не искусную)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где летят границы между феноменальным и номинальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно «неподвижностью солнца и любви»? Есть ли это последняя музыка — яблоня, осыпающая монашку белыми цветами забвения. (Вторая Симфония, 4 часть). («Не верь мгновенному, люби и позабудь»). Есть ли это грустно-задумчивое? Или это ужасный, опять манящий и зовущий компромисс (или только «льдины прибрежной пятно голубое»)? Только ли это «пророка ведущие сны» или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам, снявшему покровы и полюбившему вечность? Не все ли еще «мистический колодезь»?

Я задаю бездну вопросов, потому что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в белом», но не творить «белое» От моего «греха» задаю я Вам вопросы и потому, что совсем понятно, что центр... конечно не в соединяющем две бездны Мережковском и пр. И поэтому хочу кричать Вам, пока не поздно. Может быть я Вас не понял, но тут во многом Ваша недосказанность виновата. Вам необходимо сказать больше, вопить о границах, вопить о том, что Изида не имеет ничего общего с Девой Радужных Ворот[1]), тем более, что вся глубина, вся субстанция Ваших песен об искусстве — белая, не бездонная, не безобразная. Необходимо, чтобы Вы сочли число зверя, потому что Вы из стоящих «в челе»... (Симфония II)... Пора угадать имя «Лучезарной Подруги» и пронести знамя веющее и без складок: в складках могут «прятаться», от складок страшно. Скажите прямо, что «все мы изменим скоро в мгновение ока».

К этому письму меня привели только намеки на «мигание» (подмигивающих). В статье, которая открывает столь громадное в другом, что об этом и говорить нужно особо (таков намек на обновление гнетущей нас Кантовской теории познания). Вам нужно более легкое бремя, данное «бедным в дар и слабым без труда». И будет легче, когда будет слышно цветение Вашего сердца[2]).

Преданный Вам *А. Блок.*

---

[1]) «Дева Радужных Ворот» — гностический термин из стих. Вл. Соловьева «Нильская дельта».

[2]) Письмо чрезвычайно характерно и для самого Блока тех лет, переживавшего тему стихов о Прекрасной Даме и для А. Белого и всего кружка ценителей Блоковской поэзии, последователей философии Вл. Соловьева, живших мечтами о Новой Эпохе. В первой главе воспоминаний А. Белого («Зап. Мечт.») об этом рассказано подробно.

2. Г. И. ЧУЛКОВУ[1]).

Петербург, 19 мая 1905 г.

Дорогой Георгий Иванович,

Можно мне написать «литературную заметку» об изданиях «Содружества» ,если она еще не написана Вами? При этом мне хотелось бы упомянуть только вскользь Маковского[2]). (не хочется начинать с брани) и остановиться особенно на Л. Семенове и Дымове (то и другое Семенов прислал мне). О Габриловиче[3]), может быть, лучше написать совсем отдельно и в заметке совсем не упоминать о нем? Впрочем, может быть, Вы найдете более удобным написать отдельные рецензии обо всех. Если можно, сообщите мне об этом.

Когда выходит апрельская книжка «В. Ж.»?[4]).

Е. П. Иванов написал мне о возмутительных событиях в редакции, беспокоюсь о Вас[5]),

Пока еще мало писал, — только заметку о переводах Апулея и Овидия (вместе) [6]).

Брожу, роюсь в земле и чиню заборы. А больше, все-таки, брожу. У нас тишина и мир пока, а губерния, говорят, в усиленной охране, но этого нет... По крайней мере, все удивительно свежее и душистое.

Ужасно далеки от всех событий, и трудно представить себе что-нибудь, кроме зеленого и синего.

Читали ли Вы Дымова? Мне нравится многое, особенно — «Весна». Но иногда, вместо того чтобы проникать в свое, он скользит по поверхности чужих слов, и тогда приходится пропускать страницы.

Мы с Любой[7]) очень кланяемся Надежде Григорьевне[8]). Жму Вашу руку.

Любящий Вас *Ал. Блок*.

Н. ж. д. Ст. Подсолнечная, с. Шахматово.

---

[1]) Г. И. Чулков — поэт и беллетрист. (Род. в 1879 г.). Письмо печатается впервые.

[2]) Сергей Маковский. Собр. стихов, кн. I. Изд. «Содружество». Спб. 1905.

[3]) Леонид Семенов. Собр. стих. Рецензия Блока на эту книгу напечатана в № 8 «Вопр. Жизни» за 1905 г.

Осип Дымов. Солнцеворот. Рассказы. Изд. «Содружество». Спб. 1905 г.

[4]) «Вопросы Жизни».

[5]) На одно из редакционных собраний журн. «Вопр. Жизни», во время чтения доклада проф. Зелинского, явилась полиция и переписала всех присутствовавших. Г. И. Чулков, бывший в то время секретарем редакции, вступил в пререкания с полицейскими.

[6]) Апулей. Амур и Психея. Овидий Назон. Искусство Любви. Перев. А. И. Манна. Рец. Блока. Напеч. в № 3 «Вопр. Жизни» за 1905 г.

[7]) Любовь Дмитриевна — супруга поэта.

[8]) Супруга Г. И. Чулкова.

ЕМУ ЖЕ[1]).

23 июня 1905 г.

«...Я хотел спорить с Вами о тех пунктах Вашей статьи[2]), где говорится о трагическом разладе, аскетическом мировоззрении и черной победе смерти. В противовес этому я думаю поставить: 1) совершенную отдельность и таинственность, которой повиты последние при года жизни Соловьева; 2) Лицо живого Соловьева и 3) Знание о какой-то страшной для всех тишине, знание в форме скорее чутья, инстинкта или нюха (все эти три пункта, конечно, нераздельны).

К последним трем годам относится и наибольшая интенсивность Соловьева, как поэта, и апофеоз того смеха (дарящего, а не разлагающего), который он точно от всех Соловьевых по преимуществу вобрал в себя, воплотил, «заключил» — сделал законным это захлебыванье собственным хохотом до икоты; этот смех — один из необходимейших элементов «соловьевства», в частности, Вл. Соловьева; и этот смех делает Соловьева совершенно неуязвимым от тех нападков Розанова[3]), которые звучат похоронно — «хорошо бы-де Соловьеву иметь ребенка», «Соловьев-де вялый, пасмурный, нежизненный», словом — Соловьев «во сне мочалку жует» (конечно, это я формулирую Розанова). Последние годы Соловьев в моем предположении и впечатлении начинал *прекрасно двоиться*, но совершенно не было запаха трагического разлада и черной смерти, скорее, по моему, это пахло деятельным весельем наконец освобождающегося духа, потому что цитированное Вами о «днях печали», «гробнице бесплодной любви» и подобное (в стихах Соловьева) насквозь перегорало в «Купине Несказанности»...

Соловьев постиг тогда, в период своих главных познаний и главных несказанных веселий ту тайну *игры* с тоской смертной, которую мне сейчас кажется, тщетно взваливает на свои плечики Мережковский... Он так хохотал, играючи, что могло (и может) казаться, что львенок рычит или филин рыдает (о филине как-то выкрикнул Соловьев в большом обществе)... А ведь филин вовсе и вовсе не тоскует, когда кричит, я думаю — ему весело. *Знание* наполнило Соловьева неизъяснимой сладостью и весельем, (ведь его стихи имели роковое значение, говорите вы), и этот Рок исполнил его *всего* Несказанным, и не от убыли, а от прибыли пролилась его богатейшая чаша, когда он умирал (и на меня упала капелька в том числе). Помню я это лицо, виденное однажды в жизни на панихиде у родственницы. Длинное тело у притолоки, так что целое мгновение я употребил на поднимание глаз, пока не стукнулся глазами о его глаза. Вероятно, на лице моем выразилась душа, потому что Соловьев тоже взглянул долгим сине-серым взором. Никогда не забуду — тогда и воздух был такой. Потом за катафалком я шел позади Соловьева и видел старенький желтый мех на несуразной

---

[1]) Письмо напеч. в книге Г. И. Чулкова «Наши спутники». Литер. очерки. М. 1922.

[2]) Статья Г. Чулкова «Поэзия Владимира Соловьева», напечат. в журн. «Вопросы Жизни» 1905 г., № 4—5.

[3]) Розанов, Вас. Вас. — писатель по религиозно-философским вопросам (1856—1919).

шубе и стальную гриву. Перелетал легкий снежок (это было в феврале 1900 года, в июле он умер), а он шел без шапки, и один господин рядом со мной сказал — «Экая орясина». Я чуть не убил его. Соловьев исчез, как появился, незаметно, — на вокзале, куда привезли гроб, его уж не было. Мне хочется написать Вам именно так, без теорий, а облик, во мне живущий...

Конечно, это не возражение, но *это самое* спорит во мне с Вами, тем более, что я знаю угол, под которым стихи Соловьева (даже без исключений) представляются обмокнутыми в чернила (смерть, и смерть, и смерть...) Но сквозь все это проросла лилейная по сладости, дубовая по упорству, жизненная сила, сочность Соловьева, которой Розанов при жизни его не сломил, а после смерти — подпачкал. Эту силу принесло Соловьеву То Начало, Которым я дерзнул восхититься—Вечно-Женственное, но говорить о Нем — значит потерять Его...

От Соловьева поднимается такой вихрь, что я не хочу согласиться с его пониманием в смысле черного разлада, аскетизма и смерти. Аскетизма ведь *не было* и *фактически*, и не им вызывался тот хаос, о котором говорите Вы, и сквозь который вечно процветал зеленый, подлинный, живой стебель. Вступление к стихам — загадка, многое мне здесь разрешается, когда вспоминаю о хохоте Соловьева. Вступление[1]) *искренно* несомненно, но и хохот искренен. И, когда хохот заглушен, губы серьезно сдвинуты, а борода разложена по сюртуку, как на фотографии Здобнова, еще неизвестно, что услышим, что откроется. Еще многому надлежит явиться, о чем провещал маститый философ, заглушив в себе смех и на миг отвернувшись от игр ребенка. Еще в Соловьеве, и именно в нем, может открыться и Земля и Орфей, и пляски и песни, а не в Розанове, который *тогда* был именно противовесом Соловьева, не ведая лика Орфеева. Он Орфея не знает и поныне, и в этом пункте огромный, пышный Розанов весь в тени одного Соловьевского сюртука...

4. ЕМУ ЖЕ[2]).

Петербург, 10 мая 1906 г.

Дорогой Георгий Иванович,

Вчера мы с Евг. П. Ивановым[3]) шли вечером к Вам, но вдруг повернули и уехали на острова, а потом в Озерки — пьянствовать. Увидели красную зарю.

Так мне и не удастся побывать у Вас, потому что завтра уезжаем (как всегда — Никол. ж. д. ст. Подсолнечное, сельцо Шахматово). Извините, что сегодня не зайду, много хлопот и укладки. Желаю Вам

---

[1]) Предисловие Вл. Соловьева к его стихотворениям.

Письмо Блока является значителным дополнением к тому, что им было сказано о Вл. Соловьеве в статьях: «Рыцарь Монах» (первонач. напеч. в сборн. «Памяти В. Соловьева» М. 1911) и «Вл. Соловьев и наши дни» (напеч. в «Зап. Мечт.» 1921 г. № 2—3). См. собр. соч. А. Блока т. VII. Берлин, 1922.

[2]) Печатается впервые.

[3]) Евг. Павл. Иванов, близкий друг Блока, литератор.

всего лучшего и надеюсь, что Вы к нам заедете в июле или августе. Будет хорошо, тихо, красиво и неродственно.

Редактируете ли Вы «Освободительное Движение»[1]).

Экзамен мой кончился неожиданно для меня по первому разряду (сам изумляюсь, как это случилось).

Пожалуйста кланяйтесь от нас Надежде Григорьевне[2]). Просите ее приехать к нам в Шахматово вместе с Вами. Уверяю Вас, что можно жить уединено и тихо.

Ваш *Ал. Блок.*

СПБ. 10 мая 1906.

5. В. Э. МЕЙЕРХОЛЬДУ[3]).

22 декабря 1906 г.

Дорогой Всеволод Эмильевич!

Пишу Вам наскоро то, что заметил вчера. Общий тон, как я уже говорил Вам, настолько понравился мне, что для меня открылись новые переспективы на «Балаганчик»: мне кажется, что это не одна лирика, но есть уже и в нем остов пьесы; *об общем* хочется говорить только одно; всякий современный театр, даже наш, в котором всего воздушнее дыхание молодости, роковым образом несет на лице своем печать усталости: точно гигант, которому приходится преодолевать неимоверные препятствия в борьбе с мертвым материалом; есть момент, когда этот гигант изнемогает и останавливается, тяжело дыша. Как будто его душат эти незримые, мертвые складки занавесей и декораций, свисающие из бездны купола. И тогда эти мертвые складки падают непосильным бременем на плечи актеров, режиссера, пьес — сыпятся куски краски, громоздятся мертвые балки. В этой борьбе поневоле умирает звонкая нота, голоса грубеют; насколько этот момент присутствует в Вашем театре, настолько я могу восставать против него, *но только во имя звонкой лирики своей пьесы*, но сейчас же говорю самому себе и Вам: во-первых, в Вашем театре «тяжелая плоть» декораций наиболее воздушна и проницаема, наименее тяготит лирику; во-вторых (что главное), *всякий* балаган, в том числе и мой стремится стать тараном, пробить брешь в мертвечине: балаган обнимается, идет навстречу, открывает страшные и развратные объятия этой материи, как будто предает себя ей в жертву; и вот эта глупая и тупая материя поддается, начинает доверять ему, сама лезет к нему в объятия; *здесь-то и должен «пробить час мистерии»*: материя одурачена, обес-

---

[1]). Журнал, редактировать который был приглашен Г. И. Чулков. После выхода первого номера, издание прекратилось.

[2]) Супруга Г. И. Чулкова.

[3]) В. Э. Мейерхольд известный режиссер. (О нем см. брошюру: Н. Волков. «Мейерхольд». М. 1923). Письмо написано Блоком после одной из предгенеральных репетиций пьесы «Балаганчик», поставленной в первый раз Мейерхольдом на сцене театра В. И. Комиссаржевской в Петербурге. Первый спектакль состоялся 30 декабря 1906 г. Письмо напеч. в журн. «Искусство и Труд». 1921 г., № 1. О «Балаганчике» см. предисловие Блока к лирическим драмам (А. Блок. Лирические драмы». Спб. 1908 г.).

силена и покорена; в этом смысле я «принимаю мир» — весь мир с его тупостью, покорностью, мертвыми и сухими красками, для того только, чтобы надуть эту костлявую старую каргу и омолодить ее: в объятиях шута и балаганчика старый мир похорошеет, станет молодым, и глаза его станут прозрачными, без дна.

Это мои общие соображения. Из них Вы можете видеть, что я сам стараюсь «спрятать в карман» те недовольства, которые возникают в моей *лирической* душе, настроенной на одну песню и потому ограниченной; я гоню это недовольство пинками во имя другой и более нужной во мне ноты — ноты этого *балагана*, который надувает и тем самым «выводит в люди» старую каргу, сплетенную из мертвых театральных полотнищ, веревок, плотничьей ругани и довольной сытости.

Это последнее и глубоко искреннее, что сейчас могу сказать Вам, может быть, потом скажу больше и точнее. Извините, что заболтался, все это захотелось сказать Вам вообще, потому что мне казалось, что Вы думаете, будто я только «мирюсь». Но поверьте, что мне нужно быть около Вашего театра, *нужно*, чтобы Балаганчик шел у Вас; для меня в этом *очистительный* момент, выход из лирической уединенности Да и к тому же за основу своей *лирической* души я глубоко спокоен, потому что знаю и вижу, какую истинную меру соблюдает именно Ваш театр: того, чего нельзя продавать толпе, этому слепому и отдыхающему театральному залу, — он *никогда* не продаст — ни у Метерлинка, ни у Пшибышевского. И для меня в этом чувствуется факт очень значительный — присутствие истинной любви, которая одна спасает от предательства.

Теперь только о частностях. Большую часть, я думаю, Вы заметили. Не нужно ли «автору» в первый раз именно вылезать с опаской и потихоньку, и приходить в ужас только на середине первого монолога. А то он оглушает немного. Но на этом не стою. Потом он, конечно, должен бегать, как бегает. Вообще, Феона великолепен. Нельзя ли хоть раз просунуть чью-нибудь руку, чтобы было видно, как автора тащат на веревочку. Хорошо, чтобы он растерянно высунулся опять после слов мистиков: «Ты не выдашь меня» — «Никогда».

Коломбине надо быть все время глубоко неподвижной, без малейшей аффектации, без одного жеста. Четыре слова своих ей надо произнести просто и равнодушно, чтобы все была одна и та же музыка — ее голос, золотая коса и простое белое платье. Хорошо, если бы она появилась подальше от мистиков, а то она немного загораживает их, а у них нет средства достаточно испугаться. Председателю надо бы произнести монолог с большим священным (хотя и дурацким) трепетом, разнообразя интонации несколько больше. Так же и слова «Легкий призрак»!

Арлекину, может быть, лучше говорить первые слова менее раскатисто, с оттенком победоносной галантности, но и изящества. Ведь у него есть своя глубина — может быть она кроется в том, что он — вечно юный. Он очень юный, гибкий, красивый.

О влюбленных парах: партнер В. П. Веригиной делает, может быть, слишком порывистые жесты, и интонациии его слишком страстны.

Ведь он с самого начала уже обречен, погублен, «освистан» этим столбом легкого, играющего и обманчивого огня.

Партнера Н. Н. Волоховой мне хотелось бы видеть ближе к ней, насколько позволит еще появление среди них дразнящего паяца. Пусть он говорит еще проще, но и призывнее, хотя и деревянно и пусть чертит круг перед ней по земле мечом еще более длинным и матово-серым, как будто сталь его покрылась инеем скорби, влюбленности сказки — вуалью безвозвратно прошедшего, невоплотимого, но и навеки несказанного. Надо бы и костюм ему совсем не смешной, но безвозвратно прошедший — за это последнее и дразнит его языком этот заурядненький паяц.

Если б можно было заглушить стукотню шагов сукном, было бы хорошо. Выделилась бы только бестолковая стукотня авторских ножек на ножек по авансцене. Этот автор — всему помеха, он не понимает главного, что Балаган надувает старуху, преодолевает обманом косную материю.

Сейчас я мог написать Вам довольно живо, благодаря Вам же. Увидав Балаганчик на сцене, я вспомнил его и загорелся им, а до сих пор он был заслонен «Незнакомкой» и «Королем на площади». Спасибо дорогой Всеволод Эмильевич. О Пьеро Вам нечего говорить. Вы так очень поняли его и знаю, что хорошо сыграете.

Спасибо еще раз. Крепко жму Вашу руку.

Любящий Вас *Александр Блок.*

Завтра приду в 12 час. дня на генеральную репетицию с Люб. Дмитриевной.

6. В. А. ПЯСТУ[1]).

с. Шахматово. 6 июня 1911 г.

Милый Владимир Алексеевич. Прежде всего — поправляйтесь.— Я бродил по лесам и полям, и почувствовал себя вправе дать Вам один большой совет и одно маленькое предостережение.

Совет. За Вами — публицистические долги в большом количестве (и вовсе не «трамваи» или «действ. ст. советники»). Так как ваша воля,

---

[1]) В. А. Пяст—поэт, символист; первая книга стихов «Ограда» вышла в 1909 году. Приводимое письмо напечатано в его воспоминаниях о Блоке (изд. «Атеней», Пгр. 1923). Письмо является ответом на слова Пяста в его письме к Блоку: «чувствую свой публицистический долг: написать о трамваях, о съеденном действительными статскими советниками одного учреждения обеде, который предназначался для рабочих, и о скушанной директорами некоего частного предприятия «тантьеме», долженствовавшей перейти в рука служащих». В связи с этим Пяст писал, что «всосался в Амфитеатрова, как пиявка и высосал от него чуть ли не весь обиходный багаж мыслишек его». (Амфитеатров А. В. — публицист и беллетрист).

Письмо чрезвычайно характерно для Блока, чувствовавшего в самом себе «определенный публицистический пафос» (письмо к матери, № 12). Блок здесь снова повторяет о двух враждебных станах, — народе и интеллигенции, — мысль, развитую им в статье «Народ и интеллигенция», написанной в 1908 г.

темперамент и интересы совут Вас к изучению социологии и к публицистической деятельнссти, то Вы обязаны перед самим собою узнать русскую *деревню*, хотя бы отдельные места: во-первых, те, без которых нельзя узнать Россию вообще (т.-е. Великороссию); во-вторых, те, среди которых жил и образовывался Ваш собственный род; от него Вы получили в наследство демонизм и волю, настроенную на европейский лад. Это Западная Россия.

Вы это, я думаю, знаете; но недостаточно ярко представляете себе, что может дать познание деревни, до какой степени она может изменить врожденный демонизм (о котором мы говорили с Вами, помните, перед моим отправлением на спектакль Рейнгардта); изменить в двух направлениях: или — убить его ,т.-е. разбить всякую волю, сделать человека русским в чеховском смысле (или Рудинском что-ли); или — удесятерить его, т.-е. обострить волю, настроить ее, может быть на *сверх*европейский лад.

Я все чаще верю, что ошибки хоть бы с.-д. в недавние годы происходили от незнания и нежелания знать деревню; даже не знать, может быть (говорю так потому, что *нам ее, может быть, и нельзя уже узнать*, и начавшееся при Петре и Екатерине разделение на враждебные станы должно когда нибудь окончиться страшным побоищем), даже не знать, а только видеть своими глазами и любить, хотя бы ненавидя.

Из всего этого надо заключить, что Вы должны приехать для примера в Шахматово, хотя бы в «следующую сессию».

Предостережение. Зная по себе увлекательность Амфитеатрова (т.-е. ему подобных), дружески советую не злоупотреблять им. Такие вещи не всегда проходят безнаказанно: можно совершенно незаметным образом испортить (на время, но не всегда краткое) часть души. Это касается, разумеется, тех душ, на которых Господь «играл эфирнолегкими перстами». Такую душу между прочим необходимо иметь не только поэту, но и историку и социологу.

Знаете чудесную замену Амфитеатровых и К-о? Это не менее легко, не менее увлекательно, и вместе с тем невыразимо очищает душу: «Историю Французской Революции» Карлейля.

Думаю приехать в 20-х числах.

Целую вас крепко. Ваш *А. Блок.*

7. РЕДАКТОРУ ЖУРН. «НОВОЕ ВИНО»[1]).

26 августа 1912 г.

Многоуважаемый И. П.

Я не враг Вам, но и не Ваш. Весь мир наш разделен на клетки толстыми переборками: сидя в одной, не знаешь, что деалется в сосед-

[1]) Редактор журнала «Новая Земля», издания с определенной «религиозно-общественной», революционной окраской (при содействии Блока там впервые были напечатаны стихи Н. Клюева), занятый организацией журнала «Новое Вино», который должен был явиться продолжением запрещенной «Новой Земли», обратился к Блоку с просьбой высказаться в новом журнале по вопросам его программы и в частности хотя бы дать печатную оценку творчества Клюева. Письмо Блока впервые опубликовано в журн. «Сегодня» 1922 г. № 2—3.

ней. Голоса доносятся смутно. Иногда по звуку голоса кажется, что сосед — близкий друг; проверить это не всегда можешь.

Пробиться сквозь толщу переборки невозможно. Делаешь, сидя в своей клетке, одинокое дело: иногда узнаешь, что это дело где-то, вне поля моего зрения, принесло плод. Точно также узнаешь, что дело соседа, чей голос казался родным, принесло плод. Все эти узнавания отрывочны, недостаточны, скудны.

Все это говорю я совсем не с отчаянием; хочу показать только, почему мне кажется невозможным делать *общее* дело с Вами, с кем бы то ни было.

Не говорю даже и «навсегда», — но теперь так. Правда в том для меня (может быть даже жестокая, но я не чувствую жестокости), что чем лучше я буду делать свое одинокое дело, тем больший принесет оно плод (как, где, когда — все это другое, сейчас не о том говорю). Это не значит, что в России например нет такого *четвертого* сердца, которое бы слышало биение трех сердец (скажем: Клюевского, Вашего и моего), как одно биение. Ваша вера так велика, что из подобных фактов (а они существуют, я не сомневаюсь в этом) Вы можете делать немедленные заключения, строить на них. — Для меня же это только разрозненные факты, и я всегда могу думать *меньше*: Вы, Клюев, я, кто нибудь четвертый с Волги, из Архангельска, с Волыни, — все равно, — все разделены, все говорят на разных языках, хотя может быть иногда понимают друг друга. Все живут по своему.

Может быть, я говорю так потому, что соединение и связь мыслю такими несказанными и громадными, какие редко воплощаются в мире. Но ведь все великое редко воплощается в мире. Все равно — это опять о другом. — Во всяком случае говорю Вам все это не с тоской.

Говорю к тому, чтобы показать, почему любя Клюева, не нахожу ни пафоса, ни слов, которые передали бы третьему (читателю «Нового Вина»), нечто от этой моей любви, притом передали бы так, чтобы делали единым и его и Клюева и меня. Все остаемся разными.

Теперь я насколько умел показал Вам «тенденцию» своей души. Все более укрепляясь в этих мыслях, я все более стремлюсь к укреплению формы художественной, ибо для меня (для моего я) она — единственная защита. Вы же (т.-е. вся «Н. З.»), по моему пренебрегаете формой, как бы надеясь, что души людей, принявших Ваше содержание, сами станут формами, его хранящими. Я и об этом не сужу, — не знаю, может или не может быть так. Говорю это опять таки для того только, чтобы показать, как различны наши приемы. Так же различны, как далеки друг от друга в *настоящее* время искусство и люди.

Делаю вывод: на художническом пути, как мне и до сих пор думается, могу я сделать больше всего. Голоса проповедника у меня нет. Потому я один. Так же не с гордостью, как и не с отчаянием говорю это, поверьте мне.

Душевно Вас уважающий *Александр Блок.*

8. МАТЕРИ[1]).

Петербург, 1 апреля 1909.

...Вечером я воротился совершенно потрясенный с «Трех сестер»[2]). Это — угол великого русского искусства, один из случайно сохранившихся каким-то чудом не заплеванных углов моей пакостной, грязной, тупой и кровавой родины, которую завтра, слава тебе Господи, покину...[3]).

. . . .

Последний акт идет при истерических криках. Когда Тузенбах уходит на дуэль, наверху происходит истерика. Когда раздается выстрел, человек десять вскрикивают... от страшного напряжения... Когда Андрей и Чебутыкин плачут, — многие плачут, и я — почти.

. . . .

Чехова я принял всего в пантеон своей души и разделил его слезы, печаль и уничтожение...

Или надо совсем не жить в России, или изолироваться от *уничтожения* — политики, да и «общественности» (партийной)...

9. ЕЙ ЖЕ.

Венеция. 7 мая n. st. 1909.

. . . .

Я здесь очень много воспринял, живу в Венеции уже совершенно, как в своем городе, и почти все обычаи, галлереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно.

. . . .

Очень многие мои мысли об искусстве здесь разъяснились и потвердились, я очень много понял в живописи и полюбил ее не меньше поэзии за Беллини и Боккачио Боккачино,— окончательно отвергнув Тициана, Тинторетто, Веронеза и им подобных (за исключением некоторых деталей)...

. . . .

Здесь хочется быть художником, а не писателем, я бы нарисовал много, если бы умел.

. . . .

Теперь я знаю, что все видимое *простым* глазом — не есть Россия; и даже если русские так и не научатся не смешивать искусства с политикой, не поднимать неприличных политических споров в частных домах, не интересоваться третьей душой, — то все-таки останется все та же Россия «в мечтах».

. . . .

Рассматриваю людей и дома, играю с крабами и собираю раковины...

---

[1]) Напеч. в отрывках в книге: М. А. Бекетова. Ал. Блок. Пб. 1922 г.
[2]) В постановке Моск. Худ. Театра, приезжавшего на гастроли в Петербург.
[3]) Написано перед отъездом в Италию.

10. ЕЙ ЖЕ.

Флоренция, 13 мая 1909 г.

...Сегодня мы первый день во Флоренции, куда приехали вчерашней ночью из Равенны... В Равенне мы были два дня. Это — глухая провинция... Городишко спит крепко, и всюду церкви и образа первых веков христианства[1]). Равенна сохранила лучше всех городов раннее искусство, переход от Рима к Византии... Мы видели могилу Данте.

....Древнейшая церковь, в которой при нас отрывали из-под земли мозаичный пол IV — VI века. Сыро, пахнет как в туннелях жел. дор. и всюду гробницы. Одну я отыскал под алтарем, в темном каменном подземельи, где вода стоит на полу. Свет из маленького окошка падает на нее; на ней нежно-лиловые каменные доски и нежно зеленая плесень. И страшная тишина кругом. Удивительные латинские надписи... Флоренция — совсем столица после Равенны. Трамваи, толпа народу, свет, бичи щелкают[2])...

11. ЕЙ ЖЕ.

Бад-Наугейм, 25 июня 1909 г.

...Здесь необыкновенно хорошо, тихо и отдохновительно. Меня поразила красота и родственность Германии, ее понятные мне нравы и высокий лиризм, которым все проникнуто. Теперь совершенно ясно. что половина усталости и апатии происходила оттого, что в Италии нельзя жить. Это самая нелирическая страна — жизни нет, есть только искусство и древность. И потому, выйдя из церкви и музея, чувствуешь себя среди какого-то нелепого варварства.

. . . .

Родина Готики — только Германия, страна наиболее близкая России, — вечный упрек ей. О, если бы немцы взяли Россию под свою опеку! От этого только стало бы легче дышать, и не было бы больше позорной жизни. Здесь только есть настоящая религия жизни—готическая жизнь.

. . . .

Кроме всего этого, я нежно полюбил Наугейм. Он почти тот же, так же таинственно белеют и дымят шпрудели по вечерам...

...Парк, Teich, леса, деревни и Фридберг с дворцом и садом—все те же. На днях я поеду во Франкфурт за твоим письмом. Отсюда мы только поднимемся по Рейну до Кельна и, осмотрев его, уедем прямо в Петербург...

---

[1]) См. из итальянских стих. Блока, — «Равенна»:

Ты, как младенец, спишь Равенна
У сонной вечности в руках...

[2]) См. стих. «Флоренция», т. III.

12. ЕЙ ЖЕ.

Петербург, (февраль) 1911 г.

...Дело в том, что я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока неопределенных[1]). Может быть, поехать купаться к какому нибудь морю, м. б. — заграницу, м. б. — куда нибудь — в Россию. Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-ом году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме[2]), и на чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны я — «общественное животное», у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми — в все более по существу. С другой — я физически окреп, и очень серьезно способен относиться к физической культуре, которая должна итти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановления кровообращения (пойду сегодня уговариваться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек)— с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и... пошлейшие романы Брешко Брешковского[3]), который... ближе к Данту, чем... Валерий Брюсов. Все это — совершенно неизвестная тебе область. В пояснение могу сказать, что в этом мой *европеизм*. Европа должна облечь в формы и плоть то глубокое и все ускользающее требование формы, мое в частности; форма — плоть идеи; в мировом оркестре искусств не последнее место занимает искусство «легкой атлетики», и та самая «французская борьба», которая есть точный сколок с древней борьбы в Греции и Риме.

У меня есть очень много наблюдений (собственных) над искусством борьбы, над качеством отдельных художников (которых и здесь, как во всяком искусстве, очень мало — больше ремесленников), над способностью к этому искусству разных национальностей (всего бездарнее, разумеется, русские и итальянцы — и это при большом богатстве внешних данных! Это — падение искусства до «передвижничества» и до современной итальянской живописи. Настоящей гениальностью обладает только один из виденных мной — голландец Ван-Риль. Он вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав

---

[1]) В 1910 г. Блок, почувствовав себя плохо, обратился к доктору, который нашел у него неврастению и упадок сил и посоветовал лечение, шведским массажем и купанье в море. Лечение массажем и гимнастикой Блок начал в конце февраля 1911 г. Занятия со шведом-массажистом ему очень нравились и он писал матери так: «Массаж идет успешно. Швед хвалит мою prächtige Muskulatur. У меня вокруг спины и груди уже образуется нечто вроде музыкального инструмента». Интересно этот отрывок из письма сравнить с предисловием Блока к поэме «Возмездие», где говорится о физической культуре.

[2]) Поэма «Возмездие».

[3]) Автор многочисленных бульварных романов.

Иванов. Впрочем, настоящее произведение искусства в наше время (и во всякое, вероятно) может возникнуть только тогда, когда 1) поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром и 2) когда мое собственное искусство роднится с чужим (для меня лично— с музыкой, живописью, архитектурой и *гимнастикой)*.

Все это сообщаю тебе, чтобы ты неиспугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность *расширить* круг своей жизни, которая до сих пор была *углублена* (на счет должного расширения). Не знаю, исполню ли я что нибудь должное в этом направлении. Пока, во всяком случае, займусь массажем и гимнастикой...

12. ЕЙ ЖЕ.

Кэмпер (лето) 1911 г.

...Несмотря на то, что мы живем в Бретани, и видим жизнь хотя шумную, но местную, всетаки — это Европа, и мировая жизнь чувствуется здесь сильнее и острее, чем в России (отчасти благодаря талантливости, меткости и обилию газет при свободе печати), отчасти благодаря тому, что в каждом углу Европы уже человек висит над самым краем бездны («и рвет укроп — ужасное занятье» как говорит Эдгар, водя слепого Глостера по полю) и лихорадочно изо всех сил живет «в поте лица». «Жизнь — страшное чудовище, счастлив человек, который может, наконец спокойно протянуться в могиле», так я слышу голос Европы, и никакая работа и никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых и бедных, шныряние автомобилей, лишенное всякого внутреннего смысла, и пресса — продажная, талантливая, свободная и голосистая.

Сегодня английские стачки кончаются (повидимому), но вчера бастовало до 25.000 рабочих. Это — «всемирный рекорд», говорят парижские газеты и выражают удивление, что стачка достигла таких размеров в *самой демократической стране*! При этом одна Франция теряла до миллиона франков в день. Англия — нечего и говорить, потому что 60% английской промышленности сосредоточено в наиболее пострадавшем Ливерпуле. На *сотнях* больших пароходов сгнили фрукты, рыба и прочее. Не было *хлеба*, не было *света*. Все это сопровождалось бесконечными анекдотами, начиная с того, что лорды (у них только что отнято их знаменитое veto) уверяли в парламенте, что *все благополучно* — и кончая обществом эсперантов, которые уныло сидели на чемоданах на лондонском вокзале и тщетно ждали поезда, мечтая о соединении всех народов при помощи эсперанто. Но они мечтали об этом в «самой демократической стране, где рабочие доведены до исступления *12-ти часовым рабочим днем* (в доках) и низкой платой и где все силы идут на держание в кулаке колоний и на постройку «супер-дредноутов». Именно, *все* силы в последние годы, когда Европе *некогда* тратить силы ни на что другое, до того заселены все углы и до того прошли все времена романтизма. В Германии и Франции нисколько не лучше. Вильгельм ищет войны и повидимому *будет* воевать..

Французы собираются «mourir pour la patrie». Все это вместе напоминает оглушительную и усталую ярмарку, на которую я сейчас смотрю. Вся Европа вертится и шумит, и в тайне для этого нет никаких причин более, потому, что все прошло...

. . . .

Славянское никогда не входило в их цивилизацию, и, что всего важнее, пролетало каким-то чуждым астральным телом сквозь всю католическую культуру. Это мне собенно интересно. Я надеюс наблюсти это тайное вторжение славянского пафоса (его отрасли самое существеннсе для меня теперь) в одном уголке Парижа: на задворках Notre-Dame, за моргом есть островок, где жили Бодлэр и Теофиль Готье; теперь там в старом доме — польская библиотека и при ней— маленький музей Мицкевича... Иначе говоря, на этом островке, мало обитаемом и тихом, хотя и в центре Парижа, как бы поставлен знак...

13. ЕЙ ЖЕ.

Берлин, 18 сентября 1911 г.

Вчера было очень хорошее впечатление в Гамлете. Смотреть Александра Моисси во второй раз уже значительно хуже, чем в первый (он был Эдипом). Однако, он очень талантливый актер. Это — берлинский Качалов, только помоложе, и потому менее развит. Впрочем нужно иметь много такта, чтобы возбуждать недоумение в роли Гамлета всего два-три раза. Несколько мест у него было хороших, особенно одно: Гамлет спрашивает у Горацио, седая ли голова была у призрака. «Нет, отвечает Горацио, — серебристо-черная, как при жизни». Тогда Моисси отворачивается и тихо плачет.

Офелия была очень милая, акварельная. Великолепный актер играл короля, такого короля в Гамлета я вижу в первый раз. Он был, как две капли воды похож на Мартына[1]), и это оказалось очень подходящим. Были хороши и Полоний, и Горацио, и Розенкранц, и Фортинбрас (!), и королева, и Лаэрт, при всей неловкости положения этих последних. Я сидел в первом ряду и особенно почувствовал холод со сцены, когда поднялся занавес, и Марцел стал греться у костра в серой темноте зимней ночи на фоне темного неба. Горацио пришел и сказал, что он только «Ein Stuck Horatio», а Гамлет пришел в теплой шубе — все это хорошо.

Ужасно много разговаривает Гамлет, вчера это было мне не совсем приятно, хотя это естественный процесс творчества и английского и нашего Шекспира: все благородство молчания и аристократизм его они переселяют в женщин — и Офелия, и Софья молчаливы; оттого приходится болтать принцам — Гамлету и Чацкому, как страдательным лицам; но я предпочел бы, чтобы и они были несколько «воздержаннее на язык». Оба ужасно либеральны — и этим угождают публике, которая этого не стоит... Рейнгардт, будучи немецким Станиславским, придумал очень хороший стрекочущий звук при появлении тени: не то петух вдали, а впрочем — неизвестно что, как всегда бывает в этих случаях...

---

[1]) Работник в имении Блоков, Шахматове.

14. ЕЙ ЖЕ.

Петербург, 1911 г.

Я очень рад, что вернулся... По Германии я ехал ночью и великолепно спал один в купэ первого класса, дав пруссаку 3 марки. В России зато весь день и часть ночи принимал участие в интересных и страшно тяжелых разговорах, каких заграницей никто не ведет. Сразу родина показала свое и свиное и божественное лицо.

15. ЕЙ ЖЕ[1]).

11 августа 1916 г.

...Мне захотелось домой. Вообще же я мало думаю, устаю за день, работы довольно много. Через день во всякую погоду выезжаю верхом на работы и в окопы, в поле и на рубку кольев в лес. Возвращаюсь только к часу, к обеду, потом кое-что пишу в конторе, к вечеру собираются разные сведения, ловятся сбежавшие рабочие, опрашиваются десятники и пр.

Далее сообщается, что устроились очень уютно в трех комнатах (в избе), в каждой по три человека.

На дворе огромная свинья с поросятами. Днем приходит повар и мальчишка Эдуард, повар готовит очень вкусно и довольно разнообразно, обедаем все вместе. Живем мы все очень дружно. Иногда встречаемся мы тут с офицерами и саперами. По обыкновению возникают разные «трения». Пол деревни заселено нашими 300 рабочими — туркестанцы, уфимцы, рязанцы, сахалинцы с каторги, москвичи (всех хуже и нахальнее), петербургские, русины. С утра выясняется, сколько куда пошло, кто просится к доктору, кому что выдать из кладовой, кто в бегах. Утром выезжаешь верст за пять, по дороге происходит кавалерийское ученье — два эскадрона рубят кусты, скачут через препятствия и пр. Аэроплан кружится иногда над полем, желтеет; вокруг него шрапнельные дымки, очень красиво. За лесом пулемет щелкает. По всем дорогам ездят дозоры, вестовые и патрули, во всех деревнях и фольварках стоят войска. С поля виднеется Пинск, вроде града Китежа, — приподнятый над туманом — белый собор, красный костел, а посередине поменьше — семинария. Телефон обыкновенно испорчен, вероятно, мальчики на нем качаются...

16. ЕЙ ЖЕ.

4 сентяря 1916 г.

...Опять воскресенье, все уехали, единственный день, когда я могу сколько нибудь отвлечься от отряда и написать письмо. Тебе его передаст на днях К. А. Глинка, очень милый, смелый и честный мальчик

---

[1]) Письмо с фронта (Пинские болота), куда уехал Блок в июле 1916 г., зачисленный в организацию Союза Земств и Городов табельщиком 13-й строительной дружины.

(табельщик), потомок композитора... Если хочешь, пришли чего нибудь вкусного вместе с Любой — немного, чтобы Глинке было не тяжело везти — для всех нас. Как твое здоровье? Я часто думаю о нем...

Я озверел, пол дня с лошадью по лесам, полям и болотам разъезжаю, почти неумытый; потом выпиваем самовары чаю, ругаем начальство, дремлем или засыпаем, строчим в конторе, иногда на завалинке сидим и смотрим на свиней и гусей. Во всем этом много хорошего, но когда это прекратится, все покажется сном.

17. ЕЙ ЖЕ.

Петербург, 19 марта 1917 г.

Мама, сегодня я приехал в Петербург днем, нашел здесь одну тетю, завтракали с ней и обедали, рассказывали друг другу разные свои впечатления. Я довольно туп, плохо все воспринимаю, потому что жил долго бессмысленной жизнью, без всяких мыслей, почти растительной. Здесь сегодня яркое солнце и тает. Несмотря на тупость, все происшедшее меня радует. Произошло то, чего никто еще оценить не может, ибо таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло, случиться могло только в России. Минута, разумеется, очень опасная, но опасность, если она и предстоит, *освящена*, чего очень давно не было, на нашей жизни, пожалуй, ни разу. Все бесчисленные опасности, которые вставали перед нами, терялись в демоническом мраке. Для меня мыслима и приемлема будущая Россия, как великая демократия (не непременно новая Америка). Все мои пока немногочисленные дорожные впечатления от нового строя — самые лучшие, думаю, что все мы скоро привыкнем к тому, что чуть-чуть «шокирует». Впрочем, я еще думаю плохо. Я очень здоров, чрезмерно укреплен верховой ездой, воздухом и воздержанием, так что не могу еще ясно видеть сквозь собственную невольную сытость... Думаю съездить к тебе, вообще могу пользоваться отпуском месяц.

18. ЕЙ ЖЕ.

Петербург, 23 марта 1917 г.

Мама, три дня я просидел, не видя никого, кроме тети, сознавая исключительно свою вымытость в ванне и сильно развитую мускульную систему. Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случится очень многое .Минуты для страны, для государства, для всяких «собственностей» опасные, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно. Ничего не страшно, боятся здесь только кухарки. Казалось бы, можно всего бояться, но ничего страшного нет, необыкновенно величественна вольность, военные автомобили с красными флагами, солдатские шинели с красными бантами. Зимний дворец с красным флагом на крыше. Сгорели до тла Литовский замок и

Окружный суд, бросается в глаза вся красота их фасадов, вылизанных огнем, вся мерзость, безобразившая их внутри, сгорела. Ходишь по городу, как во сне. Дума вся занесена снегом, перед ней извозчики, солдаты, автомобиль с военным шоффером провез какую то старуху с костылями (полагаю, Вырубову — в крепость). Вчера я забрел к Мережковским, которые приняли меня очень хорошо, и ласково, так что я почувствовал себя человеком (а не парией, как привык чувствовать себя на фронте). Обедал у них, они мне рассказали многое, так что картина переворота для меня более или менее ясна: нечто сверх'-естественное, восхитительное...

Решительно не знаю, что делать с собой. Отпуск у меня до субботы Фоминой, но я бы охотно не возвращался в дружину, если бы нашел здесь подходящее дело. Со вчерашнего дня мои поросшие мохом мозги зашевелились, но придумать я еще ничего не могу, только чувствую, что все можно. Сейчас мне позвонил Идельсон [1]). Оказывается, он через день после меня совсем уехал из дружины; получил вызов от Муравьева [2]) и назначен секретарем Верховной Следств. Комиссии. Будут заседать в Зимнем Дворце. Приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов (это значит, сидеть в Зимнем Дворце и быть в курсе всех дел). Подумаю. Сейчас (говорит Идельсон) вся литейная и весь Невский запружены народом, матросы играют марш Шопена. Гробы красные, в ту минуту, когда их опускали в могилу на Марсовом поле, производят салют в крепости (путем нажатия электрической кнопки). Сейчас пойду на улицу смотреть, как расходятся.

19. ЕЙ ЖЕ.

Петербург, 2 апреля 1917 г.

Мама, в этом году Пасха проходит так безболезненно, как никогда Оказыается теперь только, что насилие самодержавия чувствовалось всюду, даже там, где нельзя было предполагать. Ночью вчера я был у Исакиевского собора. Народу было гораздо меньше, чем всегда. Порядок очень большой. Всех, кого могли, впустили в церков , а остальные свободно топлились на площади не было ни жандармских лошадей, создающих панику, ни великосветских автомобилей, не дающих ходить ,иллюминации почти нигде не было, с крепости был обычный салют и со всех концов города раздавалась стрельба из ружей и револьверов — стреляли в воздух в знак праздника. Всякий автомобиль останавливается теперь на перекрестках и мостах солдатскими пикетами, которые проверяют документы, в чем свой революционный шик. Флаги везде только красные: «подонки общества» [3]) присмирели всюду, что радует меня даже слишком — до злорадства.
день после меня *совсем* уехал из дружины; получил вызов от Муравьева [2]) и назначен секретарем Верховной Следственной Комиссии.

---

[1]) А. А. Идельсон, юрист, служил вместе с Блоком в 13-й дружине.

[2]) Председатель Чрезвычайной Комиссии Временного Правительства для расследования противозаконных по должности действий бывших министров.

[3]) Это выражение Блока «знали только самые близкие люди; он называл подонками общества» то, что принято было обыкновенно называть «сливками общества»: преимущественно богатую буржуазию, золотую молодежь и пр. (Примечание М. А. Бекетовой).

20. ЕЙ ЖЕ.

Петербург, 7 мая 1917 г.

Сидел у Идельсона, который осветил мне деятельность Комиссии—после чего мы с ним поехали в Зимний Дворец, где я познакомился с председателем (Муравьевым). Кроме первого редактора (Неведомского), будут еще два Л. Я. Гуревич [1]) и я. Завтра же я получу работу, которую возьму на дом и должен держать в тайне, пока результаты ее не будут известны Временному Правительству. Так как я буду иметь возможность присутствовать и на допросах (о чем уже говорил с Муравьевым), дело представляется мне пока интересным...

21. ЕЙ ЖЕ.

Петербург, 8 мая 1917 г.

Сегодня дважды был в Зимнем Дворце и сделался редактором. Муравьев пошлет телеграмму Ладыженскому (т.-е. главному моему начальству в Минске), а так как он на правах товарища министра юстиции, то, я надеюсь, что меня откомандируют. Не знаю, надолго ли. Попробую. Сейчас взял себе Маклакова и прошу потом Вырубову, а в пятницу хочу присутствовать на допросе Горемыкина. Жалованье мое будет 600 рублей в месяц. Сейчас читал собственноручную записку Николая II к Воейкову о том, что он *требует*, чтобы газеты перестали писать «о покойном Р.» [2]). Почерк довольно женский, слабый, писано в декабре. Его же телеграмма, чтобы прекратить дело Манасевича Мануйлова. Скучный господин.

22. ЕЙ ЖЕ.

Петербург, 12 мая 1917 г.

Мама, я уже совершенно погружен в новую деятельность, которая имеет очень много разных сторон, — во всяком случае, это очень трудно, и очень ответственно, так что мозги мои напряжены до крайности. Три дня я очень усиленно работал над Маклаковым, кончил все, кроме внешней отделки. Сейчас у меня уже Вырубова. Сегодня, я с утра толкался в Зимнем Дворце, где было много встреч и разговоров, а в час дня поехал с Муравьевым в автомобиле в крепость, где в течение пяти с лишним часов, с небольшим перерывом, присутствовал на допросе директора департамента полиции Белецкого, которого тоже возьму себе. Сообщать содержание всего этого я не имею права, но о впечатлениях говорить все-таки могу. Я ходил по корридорам среди камер, в одну из них заходил. Мимо меня прошел генерал Герасимов, знаменитый провокатор, желтолицый, без погон, смущенно поклонился. Допрос происходил в комнате, где допрашивали декабристов, серый день, серые рамы окон, за окном веточка. Белецкий в

---

[1]) Неведомский Мих. Петр. — критик. Гуревич Любовь Яковлевна — писательница.

[2]) Т.-е. о Распутине.

поношенном пиджаке, умный, хитрый, чрезвычайно много и охотно говорит глухим, быстрым голосом. Оборотень немного, острые глаза, разбегающиеся брови на толстом лице. Допрашивает Муравьев, сенатор Иванов, член Государственного Совета, академик Ольденбург и Щеголев, молчат Родичев, четыре стенографистки, комендант крепости (добродушный, скуластый штабс-капитан), секретарь, редакторы (Неведомский, пришедший под конец, и я). Белецкий сидит на стуле прямо передо мной за круглым столиком, с которым постепенно подъезжает к председательскому столу; перед ним — зеркало, сзади него сидит на стуле солдатик в шинели с ружьем, сначала у солдатика страшно внимательно растопырены брови, потом он устает и дремлет, опершись на ружье, только штык торчит.

...В понедельник я буду на продолжении допроса Белецкого. Маклаков, может быть, еще талантливее Белецкого, оба умны. Но Маклаков — барин, они с Джунковским дворяне, белоручки, а эти (Белецкий, Герасимов, многие др.) — чернорабочие, себе на уме, грязные, это все — гигантская лаборатория самодержавия, ушаты помоев, нечистот, всякой грязи, колоссальная помойка... [1]).

---

[1]) По материалам, собранным в Следственной Комиссии, Блок написал статью «Последние дни старого режима», предназначавшуюся для отчета Учредит. Собранию. Но после октябрьского переворота, статья потеряла свое первоначальное значение и была передана Блоком П. Е. Щеголеву для опубликования в издаваемом им журнале «Былое», где и была напечатана в № 15 за 1919 г., вышедшем из-за типографской разрухи только в 1921 г. Та же статья с приложением некоторых документов, подготовленная Блоком для отдельного издания, под заглавием «Последние дни императорской власти» вышла в том же году в изд. «Алконост» уже после смерти поэта.

1. ЗАМЕТКА О «ДВЕНАДЦАТИ» [1]).

С начала 1918-го года приблизительно до конца Октябрьской революции (три — семь месяцев?) существовала в Петербурге и Москве свобода печати; т.-е. кроме правительственных агитационных листков, были газеты разных направлений и доживали свой век некоторые журналы (не из-за отсутствия мыслей, а из разрушения типографского дела, бумажного дела и т. д.); кроме того, в культурной жизни, в общем, уже тогда заметно убывавшей, было одно особое явление: одна из политических партий, пользовавшаяся во время революции поддержкой правительства, уделила место и культуре: сравнительно много места в большой газете, и почти целиком — ежемесячный журнал [2]). Газета выходила месяцев шесть (кроме предшествующего года); журнал на втором номере был придержан, и потом — воспрещен. Небольшая группа писателей, участвовавшая в этой газете и в этом журнале, была настроена революционно [3]), что и было причиной терпимости правительства... Большинство других органов печати относилось к этой группе враждебно, почитая ее даже собранием прихвостней правительства. Сам я участвовал в этой группе, и травля, которую поднимали против нее, мне очень памятна. Было очень мелкое и гнусное, но было и острое. Иных из тогдашних врагов уже нет на свете, иные — вне пределов бывшей (и будущей) России; со многими я помирился даже лично; только один до сих пор не подает мне руки. Недавно я говорил одному из тогдашних врагов, едва ли и теперь простившему мне мою деятельность того времени, что я, хотя и не мог бы написать теперь того, что писал тогда, не отрекаюсь ни в чем от писаний того года. Он отвечал мне, что не мог тогда сочувствовать движению,

---

[1]) Написано Блоком 1-го апреля 1920 г. Опубликовано в стенограмме речи А. Белого произнесенной на заседании Вольфила (Вольная Философская Ассоциация. Памяти Блока. Пб. 1922 г.).

[2]) Одна из политич. партий — партия левых социалистов-революционеров. Газета — «Знамя Труда», в которой с осени 1917 г. был открыт большой литературный отдел (под редакцией Иванова-Разумника); журнал — «Наш Путь» — выходил с весны 1918 г., вышло два номера. «Двенадцать» были первоначально напеч. в газете, а потом в журнале. Кроме того, в газете было напеч. стих. Блока «Скифы» и целый ряд статей, в том числе «Интеллигенция и революция».

[3]) Группа писателей, объединившаяся вокруг газеты и журнала, «скифская группа (ранее печаталась в сборнике «Скифы» 1917 г.), объединилась не на политической платформе. «Скифы» не были партийны, но не были и аполитичны. Их объединяла идея духовного максимализма, катастрофизма, динамизма, — для Блока тождественная со стихией мирового процесса. (Подробнее об этом см. речь Иванова-Разумника в указ. сборнике «Памяти Блока»). В газ. и в журн. были напечатаны произведения: А. Блока, А. Белого, С. Есенина, С. Чапыгина, К. Эрберга, Иванова-Разумника и др.

ибо с самого начала видел, во что оно выльется; меня же понимает постольку, поскольку знает, что я более «отдаюсь» стихии, чем он. Это совершенно верно: в январе 1918-го года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе девятьсот седьмого или в марте девятьсот четырнадцатого [1]). Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией. Например, во время и после окончания «Двенадцати», я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг — шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира). Поэтому, те, кто видит в «Двенадцати» политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, — будь они враги, или друзья моей поэмы.

Было бы неправдой, вместе с тем, отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую, пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства; в море человеческой жизни есть и такая небольшая заводь, вроде Маркизовой лужи, которая называется политикой; и в этом стакане воды тоже происходила тогда буря — легко сказать: говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней! — Моря природы, жизни и искусства разбушевались, брызги встали радугою над нами Я смотрел на радугу, когда писал «Двенадтцать», оттого в поэме осталась капля политики. Посмотрим, что сделает с этим время. Может быть, всякая, политика так грязна, что одна капля ее замутит и разложит все остальное; может быть, она не убьет смысла поэмы; может быть, наконец, — кто знает! — она окажется бродилом, благодаря которому «Двенадцать» прочтут когда-нибудь в не наши времена. Сам я теперь могу говорить об этом только с иронией; но — не будем сейчас брать на себя решительного суда.

2. ВАРИАНТ СТИХ. «РОССИЯ».

Блок много работал над формой своих стихотворений. При каждом новом издании он вносил в текст различные изменения: кроме мелких поправок и дополнений, он включал или выкидывал иногда целые строфы. Стихи, первоначально напечатанные в журналах или в газетах, при сличении их с текстом отдельных сборников, дают очень интересные разночтения — ценный материал для истории блоковского текста.

Приводим известное стих. Блока «Россия» в том виде, как оно было напечатано в № 1 журнала «Новое Слово» за 1910 г. Варианты и строки, опущенные в последующих изданиях, обозначаем курсивом.

---

[1]) История жизни и творчества Блока еще не разработана; трудно с достоверностью сказать, что разумеет поэт, говоря о стихиях 1907 и 1914 г. Из крупных биографических фактов за эти годы следует указать: 1907 г. увлечение Н. Н. Волоховой, артисткой театра Комиссаржевской и цикл стихов «Снежная маска», написанный в январе; март 1914 г. — увлечение артисткой Музыкальной Драмы Л. А. Дельмас, произведшей на поэта сильное впечатление в роли Кармен; тогда же написан Блоком цикл стих. «Кармен», посвященный Л. А. Д.

РОССИЯ.

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, —
Как слезы первые любви!

Пусть оскуделая природа
О близкой гибели твердит, —
Какая пьяная свобода
В чертах погибельных сквозит!

Жалеть и плакать не умею,
Я крест свой бережно несу...[1])
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты.

Ну, что-ж? Одной заботой боле,
Одною болью и слезой, —
Зато — как вольно в чистом поле
Под угасающей зарей! [2]).

Твои болотистые топи
Обманчивы, как ты сама:
Там угля каменного копи,
Там драгоценных камней тьма!

Сулишь ты горы золотые,
Ты дразнишь дивным мраком недр,
Россия, нищая Россия,
Обетованный край твой щедр!

Вон там, где загляделась хата
С обрыва желтого в ручей
Там дочь твоя в огне заката
Стоит, накрывшись до бровей.

Она пред встречным опускает
Глаза лукавые свои,
Едва дрожа, плечо качает
На коромысле две бадьи.

Ручей бежит, бурля и пенясь.
Взглянула — взором обожгла,
Мы поравнялись, — подбоченясь,
Как лебедь, плавно прочь пошла...

Но невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

---

[1]) В послед. изд.:
Тебя жалеть я не умею
И крест свой...

[2]) В посл. изд.:
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей.

БИБЛИОГРАФИЯ.

I. СОЧИНЕНИЯ А. А. БЛОКА [1].

1. *Собрание сочинений Александра Блока*. Том I. Стих. Книга первая (1898—1904); том II. Стих. Книга вторая (1904—1908). Пб. 1922. Изд. «Алконост».

Повидимому, выпуском этих двух томов издание соч. Блока в России издательством «Алконост» прекращено; с 1923 г. издание соч. Блока перенесено в Берлин; план издания тот же: три тома стихотворений, том театра, том переводов, том драматических переводов и пять томов статей.

2. *Собрание сочинений Александра Блока*. Изд. «Эпоха» Берлин 1923. Томы I, II и III (текст повторяет петерб. издание «Алконоста»), том IV. Содержание: Двенадцать; Скифы; Последние стихотв.; Возмездие. Проза (Сказка о той, которая не поймет ее. — Исповедь язычника. — Ни сны, ни явь). Том VII. Статьи. Книга первая. 1906—1921. Лирические статьи. Содержание: Лирические статьи. — I. Безвременье. II. Девушка розовой калитки и муравьиный царь. III. Вопросы вопросы и вопросы. Россия и интеллигенция. — I. Религиозные искания и народ. II. Народ и интеллигенция. III. Стихия и культура. IV. Ирония. V. Дитя Гоголя. VI. Пламень. VII. Интеллигенция и революция. VIII. Горький о Мессине. Молнии искусства. I. Немые свидетели. II. Призрак Рима и Monte Luca. III. Взгляд египтянки. IV. Вечер в Сиене. V. Маски на улице. VI. Kitballen. О назначении поэта. — I. О современном состоянии русск. символизма. II. Памяти Врубеля. III. Рыцарь-монах. IV. Судьба Аполлона Григорьева. V. Катилина. VI. Вл. Соловьев и наши дни. VII. Крушение гуманизма. VIII. О назначении поэта, Том IX. Статьи. Книга третья. 1907 — 1921. (Статьи и рецензии о театре; о «Розе и Кресте».)

3. *Собрание стихотворений в трех книгах*. (I. — «Стихи о Прекрасной Даме»; II. — «Нечаянная Радость»; III. — «Снежная ночь»). М. 1911—1912. Изд. «Мусагет».

4. *Стихотворения*. Книга первая; книга вторая; книга третья. М. 1916. Изд. «Мусагет».

Издание 1916 г. отличается от изд. 1912 г. иной группировкой стихотворений по отделам, дополнениями, переработкой текста некоторых стихотворений. Вообще, следует заметить, что Блок, подготовляя к печати собр. своих стихотворений, каждый раз много работал над ними. Сличение различных изданий Блока очень интересно для истории блоковского текста.

5. *Стихотворения*. Книга третья (1907—1916). Изд. 3-е, дополнен ное. Петербург. 1921. Изд. «Алконос».

Многим существенно отличается от третьей книги изд. 1916 г.; включен «Соловьиный сад». Пб. 1918. Повторено в изд. «Эпоха» Беррлъ, томе.

6. *Круглый год*. Стих. для детей. М. 1913. Изд. Сытина.

7. *Сказки*. Стихи для детей. М. 1913. Изд. Сытина.

Из книг для детей в собр. стих. Б. немногие стихотворения не включены.

8. *За гранью прошлых дней*. Стих. Пб. 1920. Изд. Гржбена.

---

[1]) Из отдельных изданий Блока здесь указаны только некоторые, гл. обр. те, которые не вошли в трехтомное собр. его стихотв. и в начавшее выходить собр. соч., из журнальных статей Блока (не вошедших в книги) перечислены главные.

Из предисловия[1] «Стихи, напечатанные в этой книжке, относятся к 1898—1903 годам. Многие из них переделаны впоследствии, так что их нельзя отнести ни к этому раннему, ни к более позднему времени. Поэтому они не входят в первый том моих «Стихотворений».

9. *Двенадцать*. Поэма. Пб. 1918. Изд. «Алконост»; Пб. 1521.

Перепечатана во многих антологиях, революционных чтецах-декламаторах и т. п.

10. *Двенадцать. Скифы*. С предисл. Иванова-Разумника. Спб. 1918. Изд. «Революционный социализм».

11. *Скифы*. Вводная статья С. С. Мокульского: «Блок и революция». Крымиздат. Симферополь. 1921.

12. *Театр*. (Балаганчик. Король на площади. Незнакомка. Действо о Теофиле. Роза и Крест. Примеч. к драме Роза и Крест.). М. 1916. Изд. «Мусагет»; тоже изд. «Земля» Пб. 1918.((В этом изд. нет перевода «Действо о Теофиле» и примечаний).

13. *Песня судьбы*. Драматич. поэма. Пб. 1919. Изд. «Алконост».

14. *Рамзес*. Сцены из жизни древнего Египта. Пб. 1921. Изд. «Алконост».

15. *Возмездие*. Поэма. (Предисловие. Пролог. Гл. I—III. Наброски и планы Примечания). Пб. 1921. Изд. «Алконост».

16. *Последние дни императорской власти*. Пб. 1921. Изд. «Алконост».

17. *О любви поэзии и государственной службе*. Диалог. Берлин. 1920.

Первоначально напеч. в журн. «Перевал». 1 7 г. № 6.

18. *Поэзия заговоров и заклинаний*. Статья в первом томе «Истории Русск. Литературы» под ред. Е. В. Аничкова, А. К. Бороздина и Д. Н. Овсянико-Куликовского. М. 1908.

19. *О театре*. Статья. «Золотое Руно». 1908, № 3, 4 и 5.

20. *О лирике*. Статья. «Зол. Руно». 1907, № 6.

21. *О драме*. Статья. «Зол. Руно». 1907, № 7—9.

22. *От Ибсена к Стридбергу*. Статья. Двухмесячник. Изд. Мусагет «Труды и Дни». 1912, № 2.

23. *Русские денди*. Статья. «Записки Мечтателей». 1919, № 1.

24. *«Король Лир» Шекспира*. Статья. Журн. «Дом Искуссвт». 1921, № 1

25. *О назначении поэта*. Статья. Сборник. «Пушкин и Достоевский». Дом Литераторов. Пб. 1921.

26. *Автобиография*. Русская Литература XX в. под ред. С. Венгерова. Т. II, ч. II. Пб. 1915; перепечатана в сборнике «Памяти Блока». Пб. 1923; в книге: А. Блок. «Отроческие стихи». М. 1922—автобиогр. перепеч. из сборника составл. Ф. Фидлером. «Первые литературные шаги». М. 1911; это первый текст автобиографии, по сравнению с напеч. у Венгерова, он короче и имеет некоторые разночтения.

II. БИОГРАФИИ И ВОСПИТАНИЯ.

1. *Княжнин В. Н.* Александр Александрович Блок. Биографич. библиотека изд. «Колос». Пб. 1922.

2. *Бекетова М. А.* Александр Блок. Изд. «Алконост». Пб. 1922.

3. *Городецкий С.* Воспоминания о Блоке. «Печать и Революция». 1922, № 1.

4. *Перцов Петр*. Ранний Блок. М. 1922.

5. *Белый Андрей*. Воспоминания об Ал. Ал. Блоке. «Записки Мечтателей» 1922, № 6; тоже, переработано и дополнено: «Эпопея» (изд. в Берлине) 1922, № 1—4.

6. *Вольфила*. (Вольная Философская Ассоциация). Памяти Блока. Пб. 1922. (LXXXIII открытое заседание 28 авг. 1921 г. Речи: А. Блока, Иванова-Разумника и А. З. Штейнберга).

7. *Чулков Георгий*. К истории «Балаганчика». «Культура театра», 1921, № 7—8.

8. *Чуковский К.* Последние дни Блока. «Записки Мечтателей», 1922, № 6.

9. *Зоргенфрей В. А.* А. Блок. (По памяти за 15 лет. 1906—1921), «Зап. Мечт.». 1922, № 6.

10. *Громов А. А.* В студенческие годы. «Стожары». Альманах. Кн. 3-я. Пб. 1923.

11. *Пяст В.* Воспоминания о Блоке. Пб. 1923.

